ПИОНЕР

Июнь

Изд-во ЦК ВКП(б) „Правда" 1936 г.

6

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА

Дети — *рассказ М. Горького. Рис. Б. Винокурова* 5
Обрен Самораный — *стихи Радуле Стийенского. Рис. Ю. Кисича* 8
Месть медведицы — *рассказ В. Ананяна. Рис. Д. Горолова* . . . 16
В глубинах океана — *Вильям Биб* 21
Пушок — *рассказ В. Фраермана. Рис. Б. Винокурова* 31
Жизнь Максима Горького — *С. Роскин* 35
Биоскоп 58
Географическое общество „Компас“ 60
Приключения в Атахуальпе — *повесть Теодора Пливье. Рисунки В. Цельмера* 72
Стасова Е. Тридцать восемь лет в партии 99
Научный телеграф 104
Почта
Первый полет — *письмо Деви Дьякова* 109
История Дома советов — *письмо Георгия Самсонова* . . . 111
Письмо с неба
Что это за насекомое? 114
Спорт 115
Линия дат 118
Самодельная плотина — *А. Некрасов* 120
Загадки доктора Каррабелиуса 124

На обложке — картина художника И. Рубанова *„Летом в городе“*

ПИОНЕР

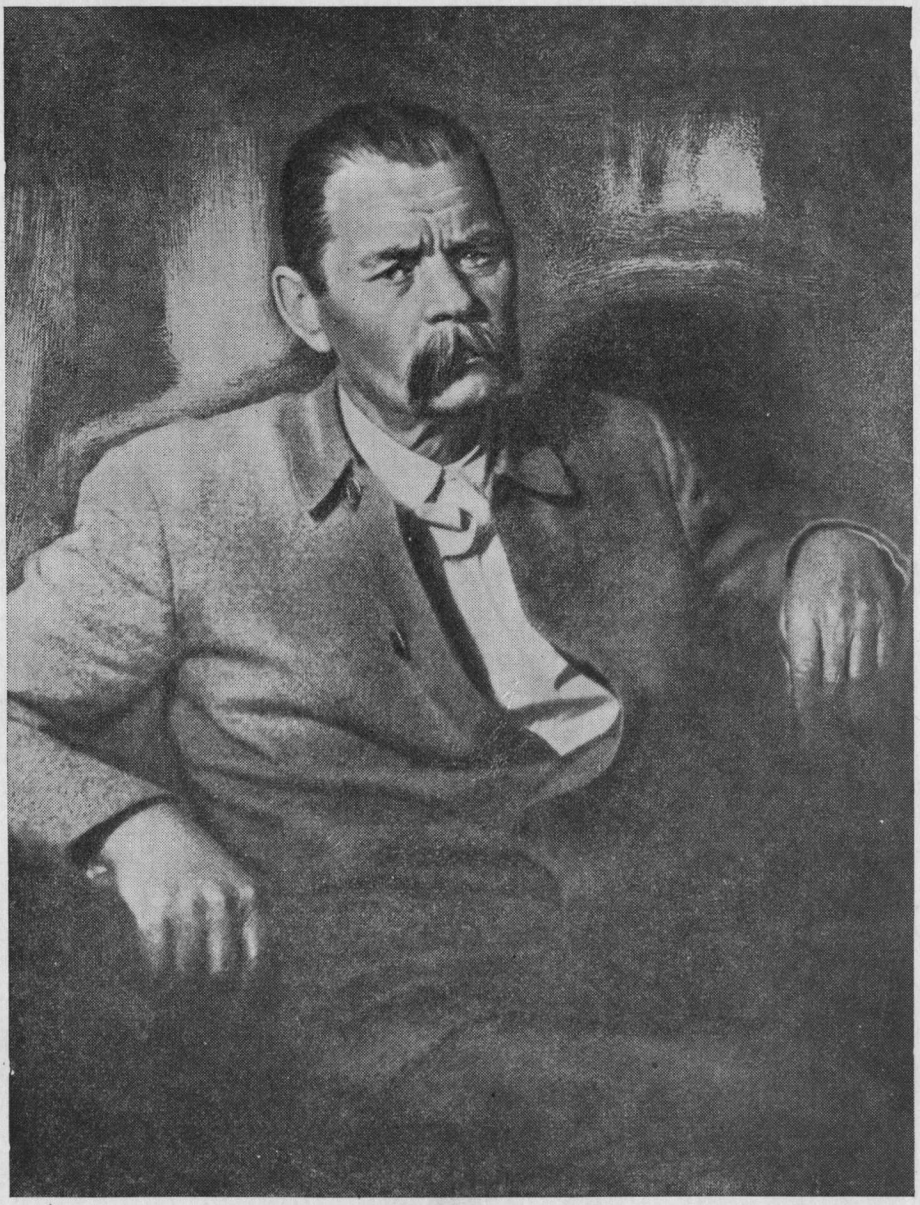
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ДЕТСКИЙ ЖУРНАЛ
ОРГАН ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВЛКСМ

П 29
34.

Гос. Публичная Б-ка в Ленинграде

№ 6
ИЮНЬ
1936

Изд-во ЦК ВКП(б) „Правда“



Алексей Максимович ГОРЬКИЙ,

великий русский писатель, друг советских детей.

(1868—1936)

Максим Горький

ДЕТИ

Забытый рассказ

Трудно рассказать эту маленькую историю,—она так проста.

Когда я был юношей, то по воскресеньям,—весною и летом,—я собирал детей нашей улицы и с утра уводил их в поле, в лес: мне нравилось жить в дружбе с маленькими людьми, веселыми как птицы.

Дети были рады покинуть пыльные, тесные улицы города; матери снабжали их кусками хлеба, я покупал что-нибудь вкусное, наливал большую бутыль квасу и, как пастух, шел сзади беззаботных ягнят городом, полем, до зеленого леса, прекрасного и ласкового в уборе весны.

Мы почти всегда выходили из города утром, во время благовеста к ранней обедне, нас сопровождал звон колоколов и облака пыли, поднятые быстрыми ногами детворы.

В жаркий полдень, устав играть, мои товарищи собирались на опушке леса, потом, закусив, те, что поменьше, спали на траве в тени орешника и калины, а десятилетние молодцы, тесно собравшись вокруг меня, просили рассказать им что-нибудь, и я рассказывал им что-то, болтая так же охотно, как они сами болтали со мною. И часто, несмотря на всю самонадеянность юности и на присущую ей смешную гордость, я чувствовал себя ребенком среди мудрецов.

Над нами — синий покров вешнего неба, пред нами—в мудром молчании—богатое разнолесье; пробежит ветер, пронесется тихий шопот, поколеблются душистые тени леса и снова благодатная тишина ласкает душу.

Белые облака медленно плывут в синеве неба; с земли, нагретой солнцем, небо кажется холодным, и странно видеть, что облака тают в нем.

Однажды, когда я выходил из города в поле с толпою детей,—навстречу нам вывернулся никому незнакомый мальчик—еврей, босой, в изорванной рубахе, чернобровый, тоненький и кудрявый, как барашек.

Был он чем-то взволнован и, видимо, недавно плакал, веки его матово-черных глаз опухли и покраснели, резко выделяясь на бледном до синевы, голодном лице.

Наткнувшись на толпу детей, он остановился среди дороги, крепко уперся ногами в прохладную утром пыль, темные губы его красивого рта испуганно полуоткрылись,—в следующую секунду он легким прыжком очутился на тротуаре.

— Держи его! — закричали дети весело и дружно. — Жиденок! Держи жиденка!

Я ждал, что он убежит, — его худенькое, большеглазое лицо выражало страх, губы дрожали, он стоял в шуме насмешек и странно вытягивался, точно вырастал, прижимаясь к забору плечами, спрятав руки за спину.

Но он вдруг сказал, очень спокойно, внятно и правильно:

— Хотите, я вам фокусы покажу?

Я понял это предложение, как способ самозащиты, а детей оно сразу заинтересовало и отодвинуло от него; только наиболее взрослые и грубые смотрели на маленького еврея недоверчиво и подозрительно: наша улица враждовала с детьми других улиц, наши ребятишки были крепко убеждены в каких-то своих преимуществах перед детьми других улиц и не любили, не умели замечать преимущества других детей.

Маленькие отнеслись к этому проще:

— Показывай! — закричали они.

Красивый, тоненький мальчик отступил от забора, изогнул назад свое худенькое тело, коснулся руками земли и, взметнув ногами, встал на руках, крикнув:

— Гоп!

И завертелся, как обожженный, легко и ловко играя своим телом.

Сквозь дыры его рубахи и штанишек просвечивала сероватая кожа худенького тела, острыми углами высовывались кости лопаток, колен и локтей. И ключицы его были точно удила.

Казалось, что вот он перегнется еще раз и эти тонкие косточки хрустнут, ломаясь.

Он старался до пота, рубаха на спине его взмокла; сделав какое-нибудь упражнение, он заглядывал в лица детей с нарочитой, мертвой улыбкой, и неприятно было

видеть его матовые глаза, расширенные точно от боли; они странно вздрагивали, и много было во взгляде их недетского напряжения.

Ребятишки поощряли его шумными возгласами, многие уже подражали ему, кувыркаясь в пыли, падая, вскрикивая от боли, неловких движений, от неудач, успехов и зависти.

Но эти веселые минуты сразу исчезли, когда мальчик, перестав упражняться в ловкости, посмотрел на детей с благосклонной улыбкой опытного артиста и сказал, протянув тонкую руку:

— Теперь,—дайте мне что-нибудь!

Все замолчали, кто-то спросил:

— Денег?

— Да, — ответил мальчик.

— Ишь какой!

— Мы бы за деньги-то и сами сумели...

Эта просьба вызвала у маленькой публики враждебное и пренебрежительное отношение к артисту,—дети пошли к полю, насмешничая и поругиваясь. Конечно, денег ни у кого из них не было, а у меня—только семь копеек. Я положил две монетки на пыльную ладонь, мальчик пошевелил их пальцем и сказал, хорошо улыбаясь:

— Благодарю...

Он пошел прочь, и я увидел, что рубаха на его спине вся в темных пятнах и прилипла к лопаткам.

— Постой, что это?

Он остановился, обернулся, внимательно посмотрел на меня и с такой же хорошей улыбкой сказал четко:

— Это — на спине? Это мы упали с трапеции в балагане,—отец все еще лежит, а я уже здоровый...

Я поднял рубаху — на коже спины с левого плеча вниз и к боку лежала широкая темная ссадина; она засохла толстым струпом, но во время упражнений струп лопнул в нескольких местах, и теперь из трещин сочилась алая кровь.

— Сейчас уже не больно,—сказал он улыбаясь,—не больно, а только чешется...

И мужественно, как подобает герою, взглянув в глаза мне, он продолжал тоном серьезного взрослого человека:

— Думаете, это я для себя работал? Честное слово — нет! Отец... у нас нет ни кусочка! А отец так разбился! Знаете,—приходится работать. А тут еще—евреи мы, и все над нами смеются... До свидания...

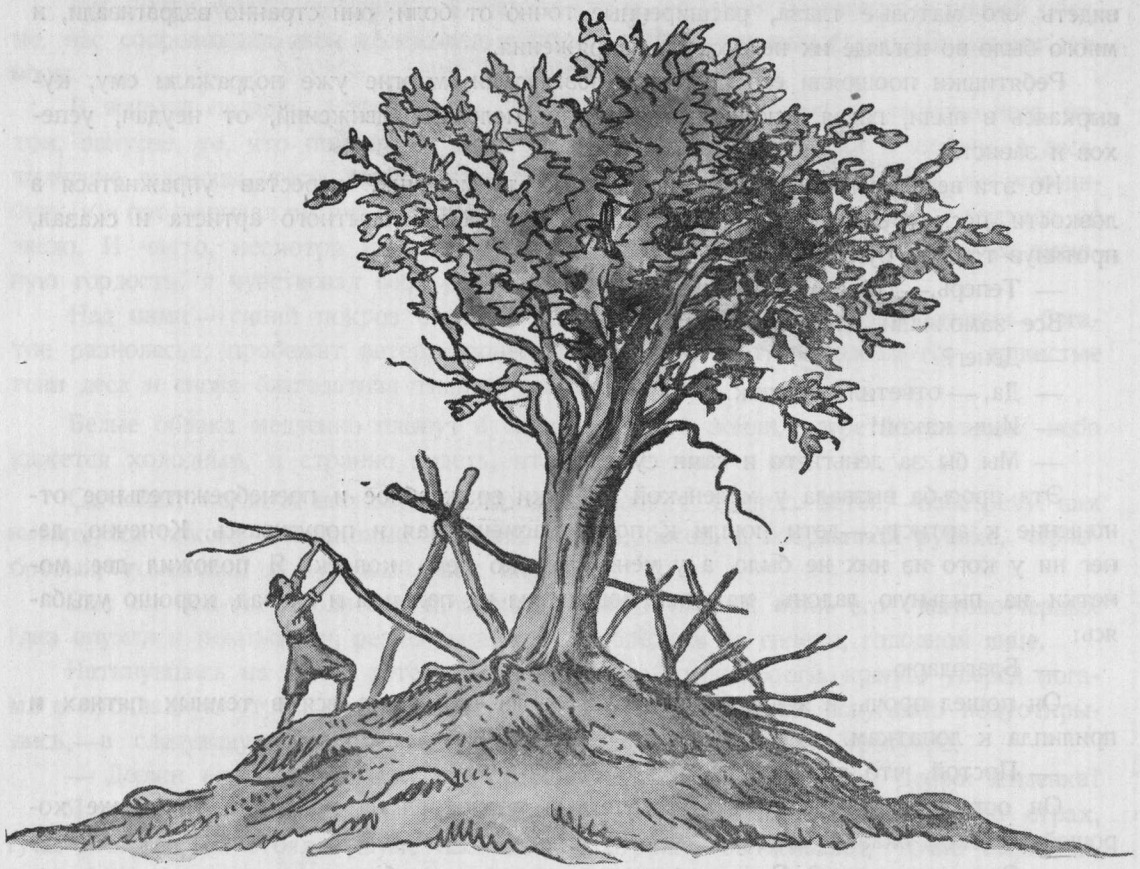
Он говорил с улыбкой, весело и бойко.

Кивнув мне кудрявой головой, он пошел очень быстро мимо глазастых домов; они смотрели на него стеклянными очами равнодушно и мертво.

Это так незначительно и просто — не правда ли?

Но не однажды в жизни моей, в трудные дни ее, я с благодарностью вспоминал мужество мальчика.

И теперь, в эти скорбные дни страдания и кровных обид, падающих на седую главу древнего народа,—я вспоминаю мальчика, ибо в нем олицетворилось для меня именно мужество человека,—не гибкое терпение раба, живущего неясными надеждами, а мужество сильного, который уверен в победе.



ОБРЕН САМОРАНЫЙ

Радуле Стийенский *Рис. Ю. Кискачи*

Перевод с сербского А. Штейнберга

У подножья седого Боровника,
На Бойовичевой Луке раздольной,
Жил бобыль по имени Обрен,
А по прозвищу Обрен Самораный.
Где кудрявый ручей уходит в землю,
У понора, под крестатым буком,
Простирающим ветви вековые
К тучам белым, словно шерсть овечья
На кудели первобытной прялки,
Он построил шалаш из крепких сучьев,
Он покрыл его листьями бука,
Папоротником вечно зеленым,
Посреди шалаша сложил огнище,
Из козлиных шкур постель наладил,
Дверь подвесил и зажил на славу!

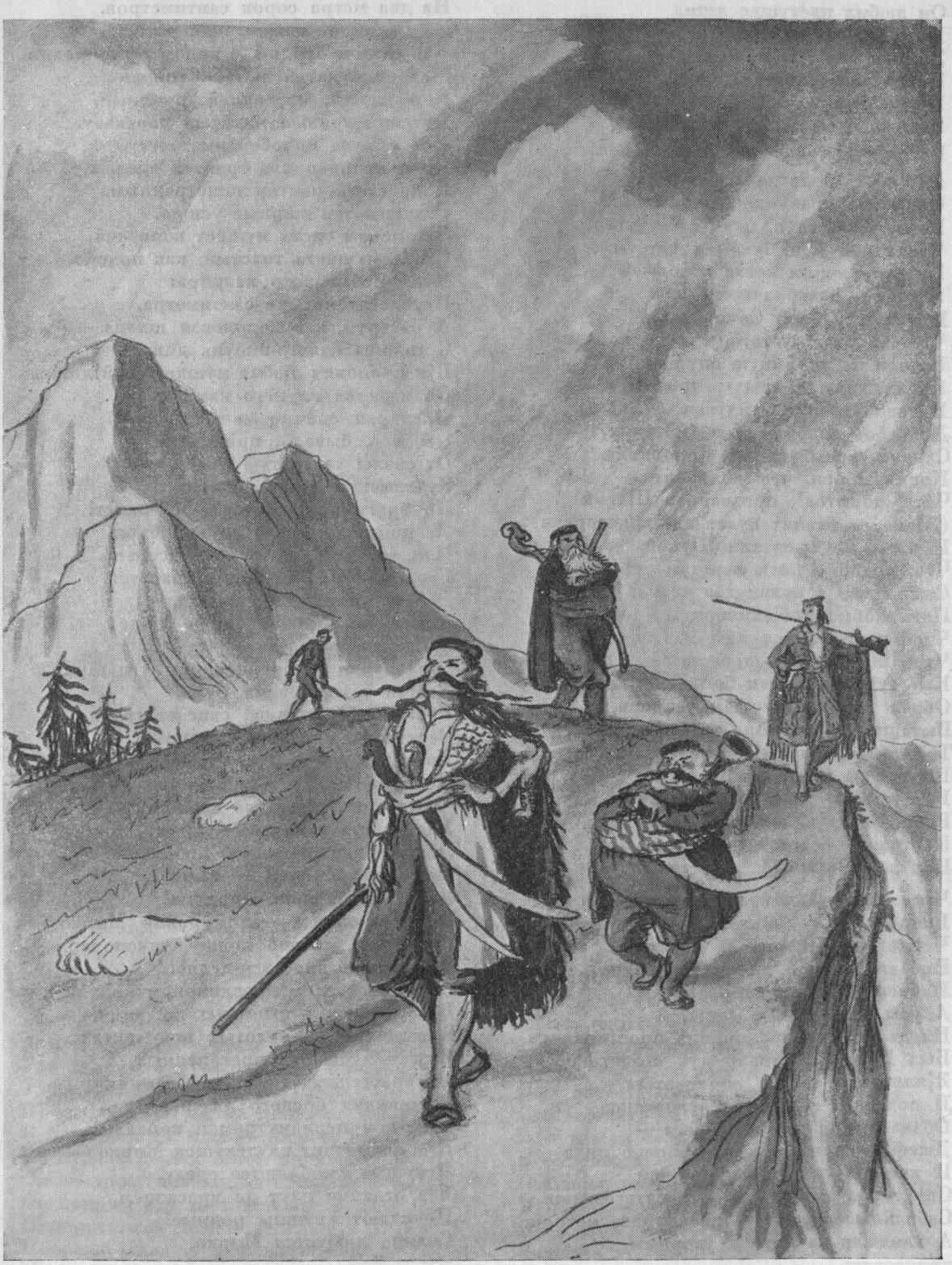
Статный горец Обрен Самораный
Отличался своим веселым нравом,
Обхожденьем достойным и приятным
И наследственным гостеприимством.
На сто верст по всей округе Обрен
Был известен как заядлый охотник;
С ним никто не мог сравняться в ловле,
В меткости стрельбы из джефердара,
В разуменьи козьих троп и лежек,
В знаньи нрава всех лесных животных.
И подобно другим следопытам,
Он любил свое уединенье,
Розовые утренние зори,
Птичьи хоры в глубине дубравы,
Он любил весну молодую,

Он любил цветущее лето,
Волчий вой непогоды осенней,
Зимние снега и морозы.
Не скучал. Работал, напевая
Песни про старинных юнаков,
Размышлял о жизни и о смерти...
Вот какой чудак был этот Обрен!

И однажды, на закате солнца,
Он косил траву косою ржавой,
Возле шалаша из крепких сучьев,
Что стоял под буком крестатым,
Простирающим ветви вековые
К синему безоблачному небу.
И увидел Обрен Самораный,
Что из леса, густого, словно войлок,
Вышли на укромную опушку,
На лужайку, покрытую цветами,
Пятеро матерых гайдуков,
До зубов вооруженных, могучих,
Словно сосны ущелий Боровника.
Понял Обрен, что юнаки эти —
Че́та[1] ко́митов[2], прозванная Шакой
(Шака — значит кулак по-черногорски);
И за то ее прозвали Шакой,
Что, подобно пяти перстам упругим,
Сжавшимся в кулак для удара,
Пять бойцов об'единились в че́ту,
Чтоб враги перед нею дрожали,
Чтоб была она непобедимой,
Как пудовый кулак богатырский.
Обрен косу положил на камень,
Вытащил кисет, взял трубку в руки,
Табаком набил ее дотказу,
Выкреснул колючую искру,
И, пуская густые клубы дыма
Вперемежку с кольцами большими,
На траву уселся неподвижно,
Поджидая ко̀митов известных.

Чѐта шла гуськом по тропинке.
Впереди — Радойца Никшевич огромный,
Черногорец усатый да носатый.
Нос его торчал, подобно клюву,
Нависая над синими усами,
А усы, как еловые лапы,
На два с лишним аршина простирались.
Был Радойца, словно дуб столетний,
Жилистым, сухим, корневатым,
И подстать своему телосложенью
Обзавелся оружием особым —
Джефердаром, длинным словно пика,
И кривою саблей непомерной.
Ствол у джефердара — десять метров,
Сабельный клинок — двенадцать метров,
А ханджар за поясом узорным
На два метра сорок сантиметров.
За Радойцей важно, вперевалку,
Как живой бурдюк с вином приморским,
Медленно катился Вук Стойович,
Коренастый, низенький, румяный,
Красной кровью налитый дотказу.
Нос у Вука подобен пистолету,
Щеки, словно два граната спелых,
И подстать кистям виноградным,
Раздуваются жирные усища.
За плечом висит мушкет короткий,
Ствол мушкета толстый, как полено,
Дуло небывалого калибра:
Пятьдесят четыре сантиметра,
А раструб, как поярковая шляпа
С головы какого-нибудь дива.
Вук Стойович любил мушкет свой дивный.
Он стрелял из него камнями,
Презирая свинцовые пули.
Отобьет, бывало, прикладом
От скалы увесистую глыбу,
Кулаками в дуло вколотит,
По врагу приложится — и грянет!
Не поймешь: гроза ли это, буря
Или, может быть, землетрясенье?
Горы снежные от грома трясутся,
Облака удирают подальше,
А могучий Вук Стойович гордо
Заряжает вновь тяжелым камнем
Свой мушкет, почерневший от нагара.
Ятаган у Стойовича Вука,
Как овечий курдюк, свисает грузно.
Весу в этом малом ятагане
Двадцать шесть пудов и восемь фунтов.
Но Стойовичу и горя мало!
Хватит сил и на два ятагана,
Хватит сил и на два мушкета,
Лишь давай баранины побольше!
Лишь давай овечьего сыра!
Лишь давай вина и ярдума![3]
За Стойовичем — Григурович Мирко,
Стройный, словно копье-лешкополец,
Ясноглазый красавец-делия.[4]
В черногорском праздничном параде,
Весь в узорах, вышитых шелками,
В жемчугах, в золотых позументах;
Ятаган в ножнах драгоценных,
Изукрашенных цветными камнями,
И приклад боевого джефердара
Выложен перламутром и кораллом.
Как посмотрит на девушек Мирко —
Девушки влюбляются сразу,
Без оглядки идут за красавцем,
Покидают хижины родные.
Солнце любуется Мирко,

[1] Че́та — отряд.
[2] Ко̀мит — боец-партизан.
[3] Ярдум — сгущенное овечье молоко.
[4] Делия — красавец.



Чéта шла гуськом по тропинке.

Светлый месяц любуется Мирко,
Звезды глаз отвести не могут
От его лица золотого.
Вслед за Мирко, плавно и свободно,
Шел седой, как туча, Анто Пайов.
Двести лет ему отроду было,
Но старик векам не сдавался;
За его спиной ширококостной,
Словно люлька великана, болтались
Исполинские древние гусли,
И смычок, изогнутый дугою,
Был подвешен к узорному чемеру.
И дебелый старец шел не горбясь,
Бороду задрав до самого неба,
Руки сильные скрестив, как ветви,
Широко раскрыв глаза голубые.
А за ним бежал вприпрыжку Шого,
Знаменитый Шого Шогоница,
Хитрый Шого, всем на свете известный
Ловкими проделками своими,
Головою лысой, как колено,
И врожденной нелюбовью к битвам.
Несмотря на рост невеликий,
Несмотря на щуплые мышцы,
Несмотря на хилые кости,
Несмотря на природную леность,
Он не раз выводил из затруднений,
Многомощных товарищей по чéте,
Он не раз спасал юнаков Шаки
И врагов обманывал умело.
Не однажды, не дважды и не трижды
Добывал он баранину, лепешки,
Кукурузный хлеб, жирное мясо,
Молоко, вино, ярдум холодный,
Черный порох и свинцовые пули.
И его весьма любила Шака,
Уважали товарищи — гайдуки,
По заслугам ценили Шогоницу,
Воздавали честь его талантам.

Чéта шла гуськом по тропинке,
Друг за другом юнаки выступали,
Важно выпятив груди, сдвинув брови,
Разнородным оружием бряцая.
Обрен ждал их, пуская клубы дыма,
Задувал одно кольцо в другое,
И когда приблизились юнаки,
Выслушал приветственное слово,
Встал с травы и ласково ответил:
— Здравствуйте, юнацкая порода!
Кóмиты уселись на сено,
На пахучие горные травы,
А хозяин побежал за едою,
Приволок большую глыбу сыра,
Весом в двадцать два пуда восемь фунтов.
Тяжело дыша от натуги,
Он ее приволок и промолвил:
— Ешьте вволю, добрые люди!

Оживился Вук Стойович, вынул
Ятаган свой короткий и тяжелый,
Стал кромсать вареный сыр ятаганом.
А за ним другие не отстали,
Обступили глыбу, обнажили
Острые ханджары да сабли
И почали резать кусища,
Так что только искры полетели!
И сказал им Обрен Самораный:
— Извините, желанные гости,
Молоком угостить вас не могу я...
Нет сегодня молока ни капли!
— Как ни капли?—заметил хитрый Шого.
Вот же на пригорке пасется
Славная корова с теленком!
И ответил Обрен без смущенья:
— Если вам угодно, я согласен
Рассказать народными стихами
Всю свою историю. — Гости
Хором закричали:—Просим! Просим!
Расскажи нам, хозяин тароватый!

Обрен попросил у Анто гусли,
Начал навивать струну потуже;
Шака развалилась на сене,
Ждет начала песни интересной.
Пролетал над Боровником ветер,
Пролетал досужий гуляка,
Увидал компанию под буком,
Сел на нижнюю ветку, свесил ноги,
Дунул дважды и замер в ожиданьи.
И листва крестатого бука
Дважды вздрогнула. Кривые ветви
Наклонились и тоже стали слушать...
На лугах альпийских, на полянах,
Словно хворост, пламенем об'ятый,
Неустанные трещат цикады.
На вершине Боровника, за лесом,
Чабаны распевают согласно.
Солнце тонет в дымно-красном сусле,
Опускается все ниже и ниже...
В глубине понора, словно сердце,
Глухо бьется вода ключевая.
Тут возвысил голос басовитый
Статный горец Обрен Самораный,
Затянул он песню громко, громко,
Засновал по струне смычком проворным—
И притихли ручьи и цикады,
Перестала журчать вода в поноре,
Над горой остановилось солнце,
Чтобы сказку правдивую послушать.

Обрен начал такими словами:
— Сам я местный житель исконный,
Из Бойовичева племени родом.
Двадцать лет я в батраках работал
У богатого Аги Оногошта.
Двадцать лет я работал усердно

Ухватился я за сорочку. Крылья задержал...

И в награду получил корову.
Привязал я к рогам моей коровы
Самовитую старую веревку
И пошел искать иного счастья.
Шел всю ночь я до самого рассвета
И достиг подошвы Боровника.
Здесь присел я на камень холодный,
Под крестатым буком, у понора,
Вытащил свой кисет и трубку,
Закурил и поглядел на небо,
Удивился, выронил трубку.
Чесу бросил и табак рассыпал
И, сказать по правде, — испугался.
Я увидел, что солнце восходит
Не с востока, по обыкновенью,
Но с другой стороны небосвода —
С запада...
И я решил остаться
У подошвы седого Боровника,
На Бойовичевой Луке раздольной,
Где кудрявый ручей уходит в землю,
У понора, под крестатым буком,
Простирающим ветви вековые
К тучам белым, словно шерсть овечья
На кудели первобытной прялки,
Я построил шалаш из крепких сучьев,
Я покрыл его листьями бука,
Папоротником вечно зеленым,
Посреди шалаша сложил огнище,
Из козлиных шкур постель наладил,
Дверь подвесил и зажил на славу!

Дело было раннею весною.
Я посеял ячмень длинноусый,
Посадил добротный картофель
На опушке букового леса,
На поляне широкой и ровной.
Лето красное прошло в работе,

Юрьев день наступил незаметно.
Утром Юрьева дня, росистой зорькой,
Был разбужен я пеньем необычным.
Я вскочил с постели, как безумный,
Выбежал из шалаша на волю,
Слышу: кто-то сладко распевает
В глубине понора, под водою.
Я немедля кинулся к понору,
Чтоб великое чудо разведать,
Вижу: крылья на траве прибрежной,
Крылья, голубые, словно небо.
Только я поднять их собрался,
А они захлопали сильно
И взлетели сами на воздух.
Я разинул рот, развесил уши,
Но приметил тонкую сорочку,
Что была к лазурным крыльям пришита.
Ухватился я за сорочку,
Крылья задержал и глянул в воду.
Там, в поноре, купается вила,
Распевая неслыханную песню.
И была эта вила прекрасна,
Словно черногорские рощи,
Словно Ловчен в сумерках, словно
Побережье Которского залива.
По плечам рассыпались кудри,
Словно шолк молодой кукурузы,
Очи синие сверкают ясно,
Как студеные горные озера,
Губы — алая роза Приморья,
Щеки — весенняя лужайка,
Зубы первого снега белее,
И смычками выгнуты брови.
И взмолилась вила из понора
Голосом звенящим и стройным:
— Статный момче, юнак незнакомый!
Возврати мне крылья и сорочку.
Я ответил виле без смущенья:
— Я впервые вас встречаю, молодица.
Я не знаю, кто вы такая,
Расскажите мне честью и правдой:
Для чего вам сорочка и крылья?
И промолвила вила из понора:
— Я не девушка, не молодица,
Мой отец — огонь разящих молний,
Мать моя — озерная влага,
Я волшебница здешнего края,
Знаменитая кудесница-вила.
Испокон веков я купаюсь
Утром Юрьева дня в поноре этом.
Испокон веков черногорки
В Юрьев день собираются у моря,
Где ручей опять на свет выходит,
И купаются в воде прохладной,
Возвращающей молодость и свежесть.
Статный момче, юнак незнакомый!
Возврати мне крылья и сорочку!
Стану я прилетать к тебе в гости,
Помогать в труде и охоте,
Будем мы частенько встречаться,
Песни петь и плясать под старым буком.
И спросил я прекрасную вилу:
— Что вы мне оставите залогом?
Отвечает вила, улыбаясь:
— Статный момче, юнак незнакомый!
Я тебе кольцо свое оставлю,
Колдовское кольцо в залог оставлю,
Самородного золота колечко
С драгоценным камнем, на котором
Резано мое изображенье.
Кто владеет колечком заветным,
Может мной повелевать по праву.
Если кликнет он меня да свистнет,
Я тотчас должна к нему являться!
Так сказала вила и метнула
Мне колечко в руки, словно искру.
Я надел его на палец безымянный
И пустил сорочку и крылья.
Вышла вила из темного понора,
Подошла ко мне, приласкалась,
Повела меня по тропинке,
По цветам, по траве росистой,
Привела к шалашу и засмеялась...
И воскликнул я голосом громким:
— Благо мне сегодня и навеки!
Тут нагнулась коварная вила,
Незабудку махровую сорвала,
Поднесла мне цветок и сказала:
— Не забудь меня, юнак пригожий!
И едва я к цветку прикоснулся,
Как подкошенный, упал я на землю,
И заснул, и спал двенадцать суток.
А когда проснулся, ни колечка,
Ни волшебницы не было в помине!
Снял я гусли с крюка, настроил быстро
И запел горючую песню,
Проклял вилу и собственную глупость
И услышал ворожейный голос
С дымно-сизой вершины Боровника:
— Ой ты, Обрен, герой горемычный!
Не брани меня и зря не сетуй!
В Юрьев день, до восхода солнца,
Каждый год меня ты видеть сможешь,—
Но не чаще, мой Обрен Самораный!
Но не чаще, юнак мой незадачный!
Если же с тобой беда случится,
Ты взови ко мне, погромче кликни,
Я тогда приду к тебе на помощь,
Выручу от черной напасти...
Так сказала вила и замолкла.

С той поры я живу одиноко,
Вечерами сижу перед огнищем,
С гуслями веду разговоры,
Призываю песнями вилу,
Спать ложусь на козлиные шкуры

... и стрелой помчался прямо к дому,

И во сне опять любуюсь вилой.
Так прошла железная осень...
Наступила зима, сковала воды,
Побелила поляны да опушки,
Загудела в глубоких ущельях.
И случилось так, что я остался
Без вареного сыра, без хлеба,
Кончились и мука и мясо,
И корова перестала доиться,
Ибо к ней дошла пора отела.
Я решил пойти на охоту.
Трое суток по горам скитался
И не встретил никакой дичины.
А бывало, множество зайцев
Попадалось на моей дороге,
Кабанов убивал я не однажды,
Брал живьем медведей чернобурых,
Перепелок бил и тетерок, —
А теперь — ничего, хоть лопни!
Очумев от голода и злобы,
Я упал на колючую землю
И воззвал к волшебнице-виле.
И ответила вила с Боровника:
— Ой ты, момче, Обрен Самораный!
Вон сидит орел на утесе,
Оседлай орла поскорее
И лети к шалашу под старым буком;
Там случилось великое несчастье:
Стая лютых волков окружила
Миловидную твою корову.
Поспешай! Не жди ни мгновенья,
А нето коровы лишишься!
Оглянулся я и на утесе
Исполинского орла приметил,
Два часа гонял его по лесу,
Наконец, поймал, ухватился
За мохнатую сильную шею,
Сел верхом на горбатую спину
И стрелой помчался прямо к дому.
Долетел до крестатого бука,
Долетел до глубокого понора
И увидел корову на поляне:
На рогах — по мертвому волку,
Волчьи туши простерты на сугробах,
Волчьи трупы валяются повсюду,
А под брюхом храброй буренки
Жмется новорожденный теленок.
Мигом ободрал я волчьи шкуры,
Подоил корову прямо в шапку.
С той поры, дорогие гайдуки,
Молока у меня никак не меньше,
Чем воды в глубокой Мораче!
А из сыра я кладу заборы.
Вот какое дивное дело!

Но сегодня новое чудо
Приключилось со мной до полудня.
Стал косить я траву косою ржавой,
Выкосил половину лужайки
И под лопухом широколистым
На детенышей ласки наткнулся.
Я отнес их в сторону, подальше,
Чтобы не задеть их косою...
В это время ласка прибежала,
Видит: нет ее детенышей милых!
Тут она, как змея, зашипела,
Кинулась направо и налево,
Трижды вкруг меня обежала
И нырнула в некошеные травы.
Через две или три минутки
Ласка появилась на пригорке,
Черный корень сжимая зубами,

И помчалась к буку, на котором
На цветущей ветке висело
Молоко в котелке чугунном.
Добежала ласка до бука,
Поползла по ветке цветущей,
Выплюнула ядовитый корень
В котелок, висевший на ветке,
Соскользнула с дерева на землю
И в корнях переплетенных скрылась.
И услышал я голос с Боровника:
— Бедный малый, Обрен Самораный!
Ты не смей к молоку прикасаться!
Ты вернись к своему косовищу,
Положи детенышей на место,
На траву, под лопух широколистый,
А нето глубокой ночью ласка
Отгрызет тебе начисто уши!
Я исполнил немедля приказанье.
И когда нашла детенышей ласка,
Обмерла, от радости упала,
Слезы брызнули из глаз померкших;
Побежала она с полминуты,
А потом направилась к буку,
Перегрызла зубами веревку,
И котел кувырнулся по пригорку.
Молоко пролилось, словно дождик,
Не осталось ни единой капли.
Трижды ласка мне в ноги поклонилась,
Трижды предо мной сплясала,
Словно танцовщица из Котора,
И ушла под буковые корни...
Вот, юнаки, по какой причине
Молока я не пил сегодня!
Вот, юнаки, по какой причине
Угостить вас молоком не могу я!

Так закончил Обрен Самораный,
Возвратил с поклоном гусли Анто,
Табаком набил длинную трубку,
Закурил и окутался дымом.
В глубине понора шепчут струи,
Звезды ясные над миром светят,
Комиты понурились устало
И мечтают о сне безмятежном,
Думают о завтрашних битвах,
О грядущих подвигах славных.

Вот и вся правдивая сказка!
Кто не верит, может проверить,
Ибо горец Обрен Самораный
До сих пор живет и не горюет
У подножья седого Боровника,
На Бойовичевой Луке Раздольной,
Где кудрявый ручей уходит в землю,
У понора, под крестатым буком,
Простирающим ветви вековые
К тучам белым, словно шерсть овечья
На кудели первобытной прялки...

МЕСТЬ МЕДВЕДИЦЫ

Рассказ В. Ананяна *Рис. Д. Горлова*

Перевод с армянского Н. Горбачевой

✶

Пришла осень, и наши леса вновь оделись в желтое.

Кочевье спустилось с горы, и зимовники опять оживились мычанием коров и блеянием овец.

Буйволы в лесу начали уничтожать груши и яблоки.

Для нас, пастухов, настала интересная пора — пора жарких костров. Мы в лесу разводили огонь и в горячей золе пекли картошку.

В то время я еще не был охотником. Второй год я был батраком в доме Аршака Атоянца. Днем я пас скот, а по вечерам я выскабливал навоз в стойлах и раздавал скоту корм. Спал я на войлоке, разостланном на полу, у очага.

За работу в год я получал одного бычка и одежду.

За годы моего батрачества у меня было много приключений, но этой осенью произошел удивительный случай, который я не забуду до самой смерти.

В эту осень мой хозяин арендовал луг около Черного камня. Мы скосили траву, собрали сено в стога и перевели скот на луг. Лес ломился от диких фруктов, разноцветных слив, груш и мушмалы, а в земле было сколько угодно картошки. Что еще нужно пастуху? Пока осень — ешь, а вот когда зима припрет коленом твою дверь,— тогда уж беда!

Однажды я, раздвинув огонь костра, зарыл в золу картошку и сел у края скалы. Я смотрел в ущелье, на лес, разукрашенный осенью, на журчащий ручеек, и сердце мое сжималось. Я раздумывал: какая же рука создала эти цвета змеи Шахмар[1]? И еще думал: кому нужны такие люди, как мы? Почему мы живем так бедно и неученые, как скот?

Одним словом, не хочу надоедать тебе: я, человек, разговаривал с камнями, с деревьями, с листвой, и тысячи мыслей вертелись в моей голове...

[1] Змея Шахмар — сказочная царица змей с пестрой и цветистой кожей.

И так, в раздумье, смутным взглядом посмотрел я вниз, и мои глаза остановились на чем-то черном. Мысли мои рассеялись, и я ясно увидел внизу, под скалой, медвежонка, который спал, повернувшись животом к солнцу. Я поманил рукой своего товарища Симона, чтобы он поскорее подошел. Он, обжигаясь полуиспеченной картошкой, со слезами на глазах и с лицом, выпачканным золой, двинулся ко мне. Я сделал ему знак молчать и пальцем показал вниз.

От радости у него заблестели глаза. Он схватил камень, чтобы ударить им, но заколебался и отбросил его. Потом взял овечий помет и бросил им в медвежонка, чтобы вернее прицелиться потом. Помет попал медвежонку в бок. Симон бросил еще и на этот раз попал ему прямо в голову. Медвежонок беспокойно шевельнул ухом и ударил себя лапой по морде. Бедняжка думал, что его беспокоят мухи, и снова уснул.

Симон взял огромный камень и метко бросил его вниз. Камень мягко стукнул, и медвежонок с расплюснутой головой судорожно задергал лапами.

Мы, несмотря на наш жестокий поступок, радостно крича, побежали на другую сторону скалы, чтобы спуститься вниз.

Вдруг в лесу раздался рев. Из чащи показалась громадная медведица. Она, что-то жуя и фыркая, шла к скале, треща ломающимся под ногами сухим валежником. Увидя под скалой окровавленного медвежонка, она подняла такой жалобный вой, что загремел весь лес. Страдальческими глазами она посмотрела в нашу сторону и встала на дыбы.

Мы, оставив картошку и скот, испуганно побежали к зимовнику...

✶

В этот вечер ребята собирались у охотника Акопа.

Испробовав тяжесть дубины моего хозяина, с опухшими глазами я вошел в хижину дяди Акопа. Молодежь всего зимов-

ника была там. Нерсес Асатурянц, превратив какое-то дырявое ведро в барабан, бил в него, а Григор Акопян играл на свирели сочиненную им песню. Это была шуточная песня, придуманная им летом, об одном парне, укравшем сыр. Песня начиналась так:

«Тетушка Оромсим, возьми прут от
шалаша,
Отхлестай им по рукам наглеца,
Чтоб не открывал он дверь вашего
шалаша,
Ой, унес он сыр,
Вай джан[1] унес сыр!»

При последних словах песни Енок Васоянц, засучив рукава и подоткнув за пояс полы чухи[2], пускался плясать.

Войдя с понурым видом, я, с'ежившись, сел у порога. В очаге, сгорев, рассыпалось большое полено и огонь стал еще сильнее. Яркий свет упал на мое лицо.

Звуки свирели и барабана прекратились, и все посмотрели на меня. Повидимому, глаза мои слишком опухли.

— Этот безбожник опять бил тебя? Чтоб ему!.. — участливо сказал Григор.

Слезы показались у меня на глазах.

— За что же, за что он тебя бил? — закричал Енок, которому так же доставалось от его хозяина.

Еле удерживая слезы, я сказал, что на этот раз мой хозяин прав, так как я бросил на лугу скот и удрал.

— А почему ты удрал?

— Медведица так зарычала, что Симон намочил штаны, — я рассказал о случившемся.

Мой рассказ слушали с большим интересом.

— А вы, ребята, будьте осторожны: она отомстит! — проговорил из угла один из пастухов.

— Ну вот еще: ведь она не человек, не понимает, чтобы мстить!

— Глупый ты! Ну что такое курица?! А как только подходишь к ее цыпленку, так она в тигра превращается, хочет тебе лицо разодрать!

Охотник Акоп выпустил из своей трубки густой дым и медленно начал:

— У каждого животного есть сердце. Не думай, что у него нет языка и оно ничего не понимает. Без'язычное животное

Я ясно увидел медвежонка внизу, под скалой.

[1] Вай — ай или ах; джан — милый.
[2] Чуха — верхняя мужская одежда.

часто имеет такое мягкое сердце, что может с горя со скалы броситься и разбиться. А мать тем более. Материнское сердце всегда одинаково: будь оно человеческое или животного. Можешь ослепить мать, убить ее, лишь бы ты не дотронулся до ее детеныша. Не будь я охотник Акоп, если медведица не отомстит.

Слова охотника Акопа произвели на нас сильное впечатление.

★

Со страхом в сердце мы в чаще леса делали корыта и лопаты, вырубая их из громадных бревен.

В эту зиму срок службы моей и Симона подходил к концу. Мы хотели уйти из батраков и устроить себе свой собственный маленький очаг. Мы сторожили скот и одновременно делали корыта и лопаты, чтобы потом в Дарачичаге [1] продать их и заработать на хлеб.

Была солнечная осень, опавшие листья шуршали под ногами, а мушмала и сливы выглядели так сладко, что от них можно было потерять ум. Ведь ты знаешь, какая у нас осень в Казахе? Лес казался не лесом, а прекрасным садом из сказки. Я говорил:

— Симон, это не осень, а настоящее лето для бедняков! Небо ласково смотрит на бедных людей, и пока погода хорошая, давай поторопимся, сделаем полный воз корыт и лопат и повезем продавать их «кро».

«Кро» мы называли людей, живущих на равнине.

А он отвечал:

— Сделаем, конечно, а то как же!..

И, по совести говоря, Симон больше усердствовал чем я: он строгал целый день, весь в поту, мурлыча себе под нос приятную баяти [2].

С этими корытами было связано не только его будущее существование, но и его любовь. Ему приглянулась дочь Тюни Мадоянца.

— Мы ведь не люди, а скотина, — говорил он, горестно смотря на свой архалук [3], заплатанный в ста местах. — Ну, скажем, разве какая-нибудь девушка пойдет за нас? Ну, будь я девушка, разве оставил бы я ладного сына хозяина и пошел бы за такого оборванца, как ты?

И он стонал от боли и еще быстрее ударял по дереву. Щепки летели на все четыре стороны, а он бормотал сам себе:

— Чтоб тебя покарежило, раздающий счастье бог бедняков!..

Я ободрял его, что все будет хорошо, что на свете все станет иначе. И он веселел, смотря на растущую груду корыт и лопат. В них он видел и хлеб на зиму, и цветистое платье своей возлюбленной, и нарядный архалук с черной каймой в день обручения...

В тот день солнце уже зашло, когда я окончил большое корыто из вяза.

— Вот тебе подарок. Пусть дочь Тюни выкупает тебя в нем! — пошутил я. Он покраснел, но радостно улыбнулся.

Корыта и лопаты мы накрыли сухой листвой, собрали скот и, насвистывая, двинулись к зимовнику.

★

Прошло несколько дней. Однажды утром мы пришли к месту работы и что же мы увидели? Все корыта и лопаты были разбиты и разбросаны — куски их валялись кругом. Наша десятидневная работа пропала! Разрушились надежды на хорошую жизнь. Симон заплакал. Он так горевал, словно перед ним валялось его растерзанное свадебное платье.

— Бог бедняцкий! Я бы тебя!..—яростно вопил он. — Все обман, обман! Нет правды, нет бога! Бог только для них! Бог жирный кусок дает только жирному! Придет волк— горе бедняку, придет мор и зараза — горе бедняку, придет град — горе бедняку!.. Обман, все обман...

Я кое-как успокоил Симона.

— Послушай, осень — что год, силы в наших руках много, снова все сделаем, — о чем думать!

С болью в сердцах мы принялись за дело.

В этот день мы сделали четыре корыта и шесть лопат.

На следующий день пришли мы — все опять валялось разбитым.

— Проклятый дьявол!.. Кто же это враждует с нами? Чудно!..

Мы думали и с ума сходили.

Переменили место работы. На другой стороне леса снова стали делать корыта.

---

[1] Дарачичаг — дачная местность в 60 километрах от Эривани.

[2] Баяти — персидская мелодия.

[3] Архалук — верхнее платье.

Взяв последнее корыто, она стала на задние лапы и бросила корыто в ущелье.

Пришли на следующий день — все было цело. Мы вздохнули свободно.

Прошло пять дней. Корыта и лопаты акуратно складывались друг на друга.

— Послушай, не нагрянула бы беда. Давай погрузим их на тележку и отвезем в село.

Я согласился.

Солнце еще не взошло, когда тележка, взятая у хозяина, остановилась у нашей «мастерской».

С ужасом мы увидели, что все корыта и лопаты опять были разбиты и разбросаны.

Мы отпрягли быков и, оставив тележку в лесу, мрачные вернулись в зимовник. Наши события стали притчей во всем зимовнике. Охотник Акоп убежденно говорил, что это проделки медведицы.

— Я же говорил, что вам даром не пройдет...— сказал он многозначительно.

И печально вздохнул.

Дело в том, что лесник отнял у него ружье и не отдавал его, ожидая взятки. Охотник заупрямился и плюнул на ружье и охоту, негодуя на грязные и неправильные законы мира. «Умру, но к двери нечестного человека не подойду», — говорил он, намекая на лесника.

— Вот что, молодежь, вы пойдите сделайте еще несколько корыт, а мы посмотрим, как она их ломает.

Мы послушались охотника Акопа, сделали в этот день несколько корыт и лопат и около места работы зажгли костер.

К вечеру к нам пришел дядя Акоп с топором на плече и с огромным серебряным кинжалом, висящим на поясе.

— Полезайте на дерево и ни звука! — распорядился он.

Мы все влезли на один кудрявый дуб. Листья дуба опадают поздно, и дерево было покрыто густой листвой, так что нас не было видно.

Стемнело. В глубине леса кричала какая-то птица. Снизу доносилось журчание ручейка и треск костра. Немного погодя мы услышали какой-то шорох. Сухая листва шуршала, а сухие сучья ломались под какой-то тяжестью. И вдруг из-за деревьев показалось что-то огромное, — не медведь, а целая скирда: медведица подошла, свирепо посмотрела на огонь и глухо заурчала. Голос как будто шел из-за семи гор. Осмотревшись вокруг, она, как человек, потрогала кучку сухих листьев, ощутила под ними корыта, вытащила их и, яростно ударяя друг о друга, стала их ломать. Взяв последнее корыто, она встала на задние лапы и изо всех сил бросила корыто в ущелье. Проделывая все это, она подвывала, словно желая успокоить свое сердце. Но самое необыкновенное было, когда она, схватившись двумя лапами за ручку лопаты, начала ею ударять о колеса тележки. Сломав и разбросав все, она не успокоилась. Ворча, она подошла к тележке, схватила ее за передок и, подталкивая, вкатила на костер.

Мы смотрели на это, затаив дыхание, но как только увидели, что тележка начала гореть, мы подняли на дереве такой адский шум, что загремели горы и ущелье. В таких случаях обыкновенно медведь убегает, но на этот раз было иначе. Мы с ужасом увидели, что эта негодница с рычанием подбежала и обхватила наше дерево. Ее глаза, устремленные вверх, горели таким огнем, что мы содрогнулись. «Вот она — месть матери», — промелькнуло у нас в мыслях. По ее глазам я почувствовал, что она узнала меня и Симона. «Стало быть эта негодница пустит нашу шерсть по ветру», — подумал я и весь задрожал.

Медведица потрясла дерево, уперлась плечом, чтобы опрокинуть его, но потерпела неудачу. Тогда она четырьмя лапами обхватила ствол и стала карабкаться вверх.

— Дядя Акоп, эта негодяйка нас сожрет, — в ужасе пролепетал Симон.

— Не шуметь! — прикрикнул охотник, вытаскивая свой кинжал. — Держите топоры наготове.

Медведица, фыркая и пуская из углов рта слюну, поднималась наверх и, наконец, добралась до наших ног. Я сидел ниже всех. Я взмахнул топором и отсек ее правую лапу. Медведица так взвыла, что дуб задрожал, но не слезала. Как видно, она решила умереть или отомстить за своего детеныша. Она тремя лапами стала еще яростнее карабкаться к нам. Глаза ее налились огнем и кровью.

Мы сверху топорами и кинжалом отрубили ей голову и окровавленную тушу спустили вниз...

. . . . . .

Да, смотри, что делает материнское сердце!..

Вот уже сорок лет я охотник. Я ходил на охоту столько раз, сколько у меня волос на голове, но после этого случая, сколько я ни встречал детенышей оленя, медведя, косули или лисицы, я не трогал ни одного из них...

Когда охотник Мукуч кончил свой рассказ, я спросил:

— А как Симон? Женился он или нет?

— Нет, эта проклятая медведица так и расстроила свадьбу моего товарища. А под конец я должен сказать, что Симон теперь бригадир в колхозе, а я заведую фермой. Как только наступает осень, мы с ним бродим по горам и ущельям и приносим косуль на свадьбы колхозных ребят. И нам теперь живется так, как ядрышку в скорлупе ореха.

Я и Симон иногда вспоминаем наши дни батрачества и говорим:

«Ну и времена!.. И как это все изменилось, и как хорошо изменилось!»

В ГЛУБИНАХ ОКЕАНА

Вильям Биб

Перевод с английского
Л. И. Некрасовой

Вильям Биб — знаменитый американский ученый. Два года назад Биб спустился в своей «батисфере» на глубину в 923 метра около Бермудских островов, в Атлантическом океане. Ни один из людей еще не был на такой глубине. Что видел там Биб? Какой неведомый человеку мир, населенный неизвестными человеку живыми существами, он открыл?

И вот Биб ответил на все эти вопросы. Мы печатаем сейчас рассказ самого Биба о том, как он сначала путешествовал по морскому дну в водолазном шлеме, как он потом придумал батисферу и что он видел, спустившись в ней.

В ВОДОЛАЗНОМ ШЛЕМЕ

Когда мы окончательно разработали проект батисферы, то оказалось, что спускаться в глубины—дело довольно простое.

Задача, над которой человечество задумывалось в течение тысячелетий, была разрешена. Батисфера открыла людям окно в совершенно новый мир.

Но, влезая в первый раз в батисферу, я не был уже водолазом-новичком: я знал довольно коротко необычайный подводный мир, как может его знать человек, на голове которого надет водолазный шлем.

И батисфера была изобретена, конечно, не сразу.

Вы стоите на металлической лесенке по шею в воде. Вам осторожно опускают на голову металлический шлем, который плотно ложится на ваши плечи. Так оруженосец одевал в старину своего рыцаря. Но вместо прорезанного забрала перед вашими глазами два широких стеклянных окошка.

Махнув на прощанье рукой приятелю, стоящему у насоса, вы медленно спускаетесь в воду по ступенькам. В течение нескольких мгновений пальмы и берег еще видны сквозь воду, которая плещется у самого лица.

Потом мир сразу меняется. Нет больше солнечного света, кругом только нежно-синеватая зелень и порхающие всюду тени. Со всех сторон поднимаются огромные розовые и оранжевые растения. Но вы отлично знаете, что это не растения, а животные—кораллы. Первыми вас приветствуют маленькие обитатели этого странного мира—четыре радужных рыбки. Они стремительно бросаются к вам и пристально разглядывают вас. Вы протягиваете к ним руки, и они исчезают.

Наконец, ваши ноги встали на дно, и вы тихо идете по чистейшему в мире песку. Рядом колышется «страусовое перо» одного роста с вами; оно очень похоже на папоротник, но ярко пурпурового цвета.

Вы присаживаетесь на песчаный холмик—от вас бросаются прочь крабы и мелкие рыбешки. Вы прислоняетесь к беломраморной коралловой решетке и облокачиваетесь на круглый стол из голубого камня, на котором растут три цветка: их лепестки отливают золотом и малахитом, у них причудливая вытянутая форма и бахромчатые края, как у редких орхидей. Вы хотите сорвать один из них, но цветы с быстротой молнии исчезают под лазоревым мхом, из которого они, повидимому, растут.

Но неужели вы действительно под водой? Ни малейшего чувства сырости или влажности! Воздух, которым вы дышите, пожалуй, лучше, прохладней чем в моторной лодке, покачивающейся над вашей головой. Вы поднимаете руку, видите на концах пальцев мелкие морщинки, как у купальщиков, и убеждаетесь, что вы действительно под

водой. Моток чудеснейших кружев опускается вам на шлем. Для ваших друзей, смотрящих с лодки, это только стайка медуз.

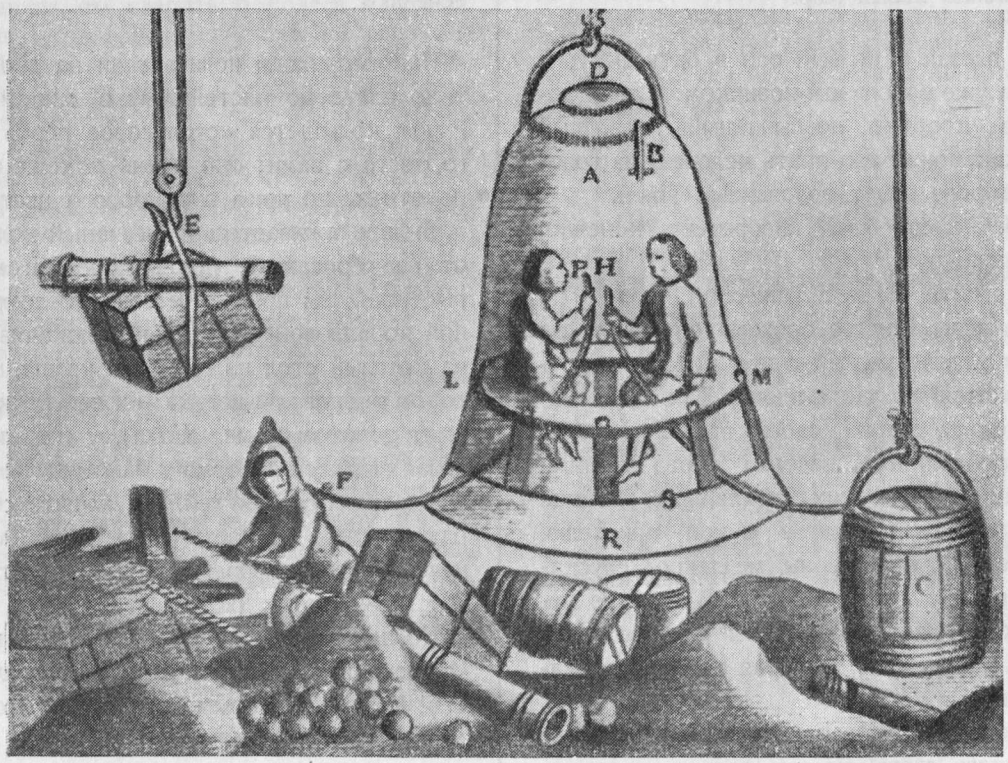
Но сколько же времени прошло с тех пор, как вы покинули жаркий мир наверху? Несколько минут или несколько часов? Легкое подергивание сигнального линя напоминает о жизни, которую вы почти забыли. Вы поднимаетесь с места и нето идете, нето плывете к качающейся лесенке.

В течение десяти лет я знакомился таким образом с подводным миром в его естественной обстановке. Все мое снаряжение состояло из купального костюма, туфель на резиновой подошве и медного водолазного шлема, в который воздух накачивался через резиновый шланг при помощи обыкновенного насоса.

Спустившись несколько раз, хочешь уж не только восхищаться, но и закрепить свои впечатления на месте. Я придумал для этого разные мелкие усовершенствования. Чтобы писать заметки под водой, надо запастись пластинками из цинка или блокнотом из непромокаемой бумаги. Но нужно непременно крепче привязать карандаш, иначе дерево может отделиться и уплыть, а свинцовый стержень—опуститься на дно. Можно заниматься кинос'емкой, поместив камеру в водонепроницаемый медный ящик со стеклом. Можно писать масляными красками, прикрепив грузила к мольберту и приготовив кожу или непромокаемый холст. Правда, стайки голодных мальков, привлеченные запахом масляной краски, будут тыкаться носами в холст, и вам придется постоянно смахивать их с палитры...

Из рогатки и самострела можно стрелять в рыбу зазубренной стрелой.

Наконец, можно устроить подводный сад, выбрав подходящий склон или площадку в рифе и перетащив туда коралловые глыбы с морскими перьями, морскими веерами



ПЕРВЫЙ ВОДОЛАЗНЫЙ КОЛОКОЛ

Свежий воздух для водолазов посылали с поверхности в бочках. От бочки к колоколу шел кожаный шланг. Водолаз выходил из колокола в кожаном шлеме на голове, соединенном трубкой с колоколом. Физик и астроном 18-го века Галлей спускался в таком колоколе на глубину 15—18 метров и оставался там полтора часа.

(горгониями) и большими разноцветными актиниями. Когда коралловый сад разрастется, туда приползут крабы и морские звезды. Среди ветвей начнут порхать рыбы и время от времени будут проплывать медузы.

Человек, который смотрит на дно моря прямо сверху, скажем, через стекло, устроенное на дне лодки, не имеет никакого представления о том, что видит водолаз. Для него все решительно предметы выглядят иначе. В этом нет ничего удивительного: ведь и наши знакомые непохожи сами на себя, если смотреть на них из окна третьего этажа!

Однажды около Бермудских островов я укрепил на якорях нос и корму своей лодки прямо над серединой кораллового рифа, который через стеклянное дно лодки казался мне совершенно плоским. Уверенно спустив лестницу, я вскоре очутился на дне. Там нельзя было ступить и шагу! Я с трудом, на четвереньках, пробрался на несколько метров от лестницы и очутился в тупике: с одной стороны — бездонная трещина метров в 6 ширины, с другой — собралась куча морских ежей с длинными ядовитыми иглами, а впереди — отвесный обрыв спускался в невидимую пропасть.

Исцарапавшись в кровь о кораллы и скалы, я поднялся наверх и перевел лодку на другое место, более подходящее для спуска: внизу был белый песок. Здесь мы выбросили за борт для приманки несколько кусков испорченного мяса. Когда я спустился на дно, я увидал, что на приманку собралось уже много рыбы. Большие рыбы-попугаи подплывали посмотреть на меня и двигали твердыми зелеными губами и челюстями. Из-под ног поднимались белые камбалы и бычки и вновь укладывались на дно, сразу становясь незаметными.

Увидав, что здесь будет большая добыча, я взял с лодки длинное удилище с динамитным патроном на конце. Мне хотелось поймать рыбу-бабочку. Я скоро увидал двух больших рыб с четырьмя глазчатыми пятнами. Оглушив их выстрелом из патрона, я поймал одну сачком. Вдруг из облака взбаламученной воды у моего локтя поднялись голова и шея огромной мурены и потянулись за моей добычей. Мурена, похожая на угря, выползала из трещины в рифе, как раз около моего колена, и я лягнул ее изо всех сил. Судя по голове, она была длиной около двух с половиной метров. Но спряталась она еще быстрее, чем появилась! Затем я поймал и вторую рыбу-бабочку и поспешил подняться по лестнице.

Однако мои приключения не кончились. Отдохнув, я спустился через несколько времени снова.

Еще сходя по лестнице, я увидал пять акул, кружившихся у ее подножья. Одна из них была большая серая, двух с половиной метров длины. Остальные были мелкие, годовалые акулята. Я отправился опять в свое убежище, где стал ждать петрометопонов—рыбок, тело которых резко разделено на темнокоричневую верхнюю и нижнюю белую половины.

Вверху над собой я видел трех акул, очень похожих на надутых японских воздушных змеев, лениво колыхавшихся у середины лестницы. Я стал устанавливать свое удилище, чтобы прицелиться, как вдруг его чуть не вырвало у меня из рук, свернуло и согнуло. Я забыл, что на конце его все еще оставался кусок тухлого мяса.

Пока я смотрел, акула бросилась вперед и, схватив зубами за конец удилища, стала трясти его, как собака.

Я уперся им прямо в бок акулы и включил патрон. Раздался взрыв. Небольшое темное облако разошлось по воде; акула перевернулась и быстро уплыла.

Когда я в лодке снял свой шлем, Джон Лонг, корреспондент «Географического журнала», взволнованно спросил меня, как я боролся за свою жизнь. Наблюдая сверху, он действительно думал, что дело шло о моей жизни. Но я должен искренно сказать, что под водой мурена, барракуда и акулы имеют не больше значения чем всякая другая рыба. Долгий опыт научил меня и других водолазов, что они вполне безобидны, по крайней мере для водолаза в шлеме.

После нескольких дневных спусков мож-

но попробовать спуститься в том же месте и ночью.

Когда я спускался в первый раз ночью, океан светился. Я бросил в черную как смоль воду кусок коралла, и мне показалось, что он взорвался, как бомба, превратясь сначала в лучезарное сияние, потом в широкое огненное кольцо, которое постепенно расширялось и бледнело.

Я выстрелил в воду из ружья — получилась чудесная комета с добела раскаленным хвостом. Потом кинул в воду кусок изогнутой проволоки—и она загорелась, точно внутри электрической лампочки.

Днем сетью я вылавливал здесь только очень скудную добычу. Зато ночью ко мне попадали сотни животных. Интересно, что при лунном свете добычи бывало еще меньше чем днем. Но когда мы осторожно опускали в воду специальные подводные фонарики, то вокруг них начинали собираться рачки и рыбы.

Захватив такой фонарь-прожектор, я спустился по лесенке. Подо мной не было ничего, кроме мрака. Единственный звук— ленивое бульканье воды около корпуса судна.

Включив прожектор, я подождал несколько минут, пока глаза привыкли к свету, прорезавшему тьму. Всюду, куда проникали лучи, вода становилась похожей на воздух. Медузы казались воздушными шарами, рыбы не плыли, а точно летали. Посмотрев на киль судна, я увидал поразительное зрелище: киль судна висел высоко, в совершенной пустоте, то поднимаясь, то опускаясь!

РОЖДЕНИЕ БАТИСФЕРЫ

Так до 1930 года я довольствовался тем, что с воздушным шлангом спускался на глубину не более 20 метров. Давление и так достигало здесь 2,6 килограмма на квадратный сантиметр тела. Опустившись ниже, можно было потерять сознание и больше никогда не вернуться наверх.

Но уловы наших тралов и сетей с глубин от одного до четырех километров только увеличивали мое желание проникнуть туда самому. У меня было такое чувство, как у человека, которому из всех африканских зверей показывали бы, например, только маленьких грызунов, крыс и мышей и не показали бы ни жирафа, ни слона, ни льва, ни носорога.

Конечно, в полном водолазном костюме можно было бы опуститься и глубже. Но в этих костюмах много недостатков и неудобств, и даже профессиональный водолаз не может спуститься в них глубже 90 метров. На большой глубине воздух должен поступать в легкие под давлением, равным давлению окружающей воды. И предел, который выдерживает человек,—это не больше 92 метров глубины.

Но быстрый под'ем даже с меньшей глубины может убить водолаза. Как бутылка газированной воды наполняется пузырьками воздуха, когда ее откроют, так и кровь быстро поднятого человека «закипает», пенится пузырьками.

Существуют металлические водолазные панцыри, настолько прочные, что они могут выдержать страшное давление воды на большой глубине. И человеку тут не надо приноравливаться к давлению. В панцыре, весящем 85 — 130 килограммов и больше, водолаза спускают на стальном тросе. Но на большой глубине водолаз в панцыре почти так же беспомощен, как если бы он сидел в цилиндре или шаре. У него есть руки и ноги, но они в стальных футлярах, и давление настолько зажимает шарнирные сочленения, что человек лишь с большим трудом может их согнуть. Самая большая глубина, какой достигали в таком подводном аппарате,— 155 метров.

А подводные лодки никогда даже на столько не опускались. Да и кроме того вести наблюдения из подводных лодок невозможно: у них нет окон, а в перископ можно увидеть в лучшем случае только верхние зеленые слои воды.

Значит, надо изобретать новый аппарат. На что же он должен быть похож?

Выгоднее всего распределяется давление на шаре. Поэтому я и остановился на совершенно круглой камере.

Такой стальной шар мы и построили в 1929 году.

По сравнению с «водолазными машинами», о которых я уже рассказывал, устройство шара очень просто. Его поперечник—1 метр 45 сантиметров и весит он 2454 килограмма. Спереди—три коротких выступа, как пушечные дула,—три окна, в которые должны были вставляться вместо стекол линзы из плавленного кварца, самого прозрачного вещества, какое известно. Всего было выточено пять кварцевых линз, но две лопнули при пригонке в рамы и одна — при испытании давлением. Две оставшиеся были благополучно вставлены. Третье окно пришлось заделать стальным щитом.

Против окон находится люк. Мы вежливо назвали его «дверью». Пролезть в него может только очень худой человек.

Стальной трос, на котором шар спукается в глубину, настолько прочен, что мог бы выдержать дюжину таких шаров.

ГОЛОВОЙ ВПЕРЕД В БАТИСФЕРУ

Биб залезает в батисферу как настоящий водолаз. После того как он устроился на холодном твердом полу батисферы, Бартон влезает в нее и крышка крепко завинчивается. Завинчивание стальных болтов ударами молота — самое неприятное во всем спуске.

Откуда брать воздух для дыхания? Мы решили не зависеть от поверхности, а делать воздух самим внутри батисферы. В батисфере установили два баллона с кислородом и сосуды с хлористым кальцием для поглощения влаги и натронной известью для поглощения углекислоты. Нашего запаса кислорода вполне достаточно для поддержания жизни двух человек в течение восьми часов.

Осветительный и телефонный провода были заключены в электрический кабель. В шар они попадают через отверстие наверху. Это так называемый «сальник» — самое важное и опасное место в шаре: через него всего легче может проникнуть вода.

Для шара я придумал название «батисфера» — от двух греческих слов, обозначающих «глубину» и «шар».

Весной 1930 года батисфера была готова и к июню доставлена на Бермудские острова.

Для спусков батисферы наняли баржу «Рэди», с большой открытой палубой, со стрелой (под'емным краном) и большой лебедкой, на которую наматывался стальной трос.

ПЕРВЫЕ СПУСКИ

6 июня день был совершенно тихий. Ранним утром мы уже были на «Рэди», и пароход «Гладисфен» вывел нас в открытое море. Ровно в девять я приказал «Гладисфену» остановиться.

Все было готово. Оглянувшись на море, на небо и на своих друзей, я так и не придумал сказать им что-нибудь подходящее к такому случаю; молча полез я по жестким болтам дверного люка и упал вниз на холодное, стальное дно батисферы. Это заставило меня заговорить, и я попросил дать мне подушку, которой на «Рэди» не оказалось. Вслед за мной влез Отис Бартон, и, кое-как распутав наши длинные ноги, мы уселись.

Дверь, весящая 181 килограмм, была поднята и вставлена на место, плавно проскользнув по десяти огромным болтам. Затем на них навинтили гайки и ввинтили крылатый болт в среднее отверстие. После этого начался адский грохот. Каждую гайку «затягивали» ударами молота. Я был почти уверен, что треснут стекла.

Затем водворилась полнейшая тишина.

В окно я увидел, как капитан махнул рукой. Мы почувствовали, что наш круглый дом закачался, наклонился и поднялся прямо вверх. Вот мы перелетели через борт, и столб пены и брызг закрыл окна.

И тотчас же — приятный зеленый полумрак. Вид за окном был привычный. Я часто видел через стекла водолазного шлема покачивающийся киль судна с колыхающимися и свисающими с него флагами водорослей. Затем киль стал уходить вверх и слился с зеленой водой над нашими головами.

Через несколько секунд нам сказали по телефону, что мы находимся на глубине 15 метров. Это был почти предел спусков в водолазном шлеме.

«39 метров». Единственное изменение — за окнами слегка потускнело, зеленый свет стал как бы холодней.

«90 метров»—это предел спуска в скафандре!

Только по тому, как проносились вверх за окном мелкие организмы, было видно, что мы снова спускаемся.

Через две минуты послышалось: «120 метров». Подводные лодки не спускаются ниже этого.

«155»—предел спуска в водолазном панцыре.

«160» — до сих пор сюда спускались только мертвецы.

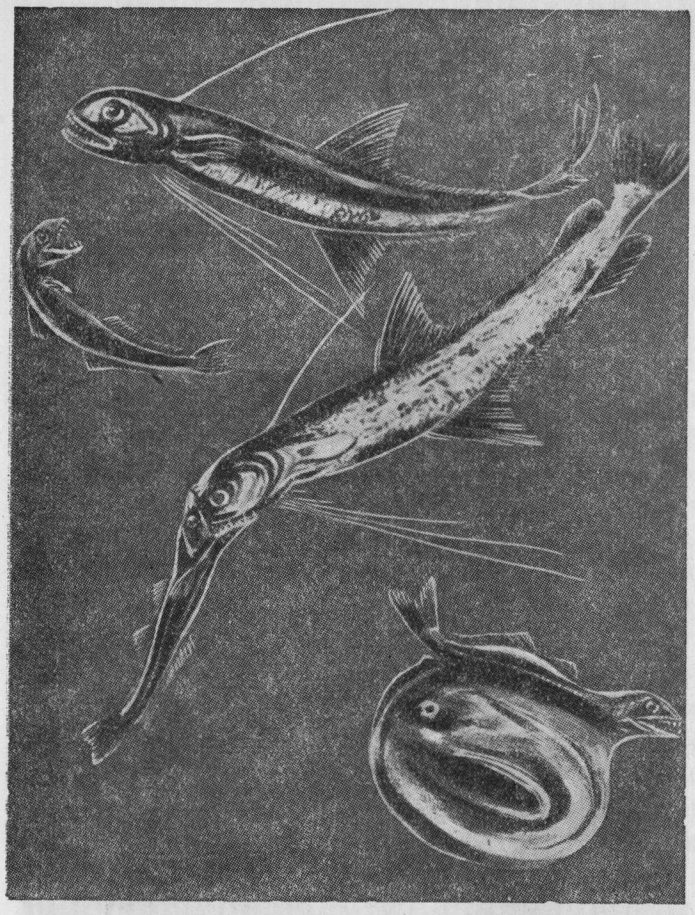
На 215 метрах мы задержались. Мы были первые живые люди, видевшие это подводное освещение. Оно было очень странное. В окна виднелась только неопределенная прозрачная синева, не похожая ни на что, к чему мы привыкли наверху, на земле. Было как будто светло, но когда я попробовал читать, то оказалось, что страницы шрифта нельзя отличить от цветной таблицы. Это было совершенно незнакомое, новое зрительное впечатление, которое мы не могли описать никакими обычными словами.

В этот первый спуск мы достигли наибольшей глубины—305 метров, и у нас внутри батисферы случилось три события, которые нас взволновали.

Первым событием была легкая течь под дверью, появившаяся на глубине 90 метров, а затем все уменьшавшаяся. Второе событие — короткое замыкание выключателя с треском и искрами. Выключатель мы исправили. Наконец, третье событие было совсем нелепое. Бартон просто вытащил из-за баночки с химикатами свой пальмовый лист, служивший ему веером. Я в эту минуту был занят наблюдениями над проплывавшими у окна рыбами, и неожиданный резкий треск подействовал на меня так, будто одновременно прорвались дверь и окна. После этого, щадя нервы друг друга, мы старались двигаться как можно тише.

Меньше чем через час после начала спуска мы были уже у поверхности океана. Снизу она казалась твердым зеленым потолком, и мы невольно нагнули головы, ожидая толчка, но поднялся только фонтан брызг и пены...

Через 5 дней, 11 июня, мы спустились глубже всего в этом году—на 435 метров.



«ЧЕРНЫЙ ПОЖИРАТЕЛЬ» СЪЕДАЕТ РЫБУ В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ ЕГО САМОГО.

Наверху показано, как он занимает боевое положение. Вот он уже напал на жертву — рыбу-единорога. А внизу, справа, вы видите, как «черный пожиратель» уже уплывает со своей огромной добычей в желудке.

Это был седьмой спуск батисферы. После первого мы сделали в ней массу улучшений. Внутренность камеры была окрашена в черный цвет, чтоб не мешать наблюдениям. Для инструментов и вееров отвели особое место. Мою записную книжку, карандаш и книгу с цветными таблицами разложили на специальной полке. Для защиты от бокового света прожектора устроили экран. Для сиденья на полу положили плоскую подушку. Под окном батисферы привязали, завернув в марлю, старого кальмара для приманки и прицепили несколько крючков. Казалось, позаботились обо всем.

Но когда влезли, Бартон не захотел опускаться без своей засаленной кожаной ермолки, и так как мы не могли найти ее в камере, пришлось отвинтить центральный болт, и минут пять ее искали по всему «Рэди», пока не оказалось, что он на ней сидит...

Наконец, в 10 часов утра нас герметически закупорили, и через четыре минуты батисфера коснулась воды. Когда исчезла стремительная струя серебристого дыма от пузырьков воздуха, вода в окнах стала совершенно прозрачной. Граница между воздухом и водой над моей головой казалась совершенно плотным, тихо колыхавшимся бледнозеленым балдахином, всюду простеганным голубыми подушечками. Это были острые гребешки мелких волн — снизу они представлялись округлыми выемками.

В 15 метрах от поверхности я случайно взглянул на большую глубоководную креветку, взятую с собой для проверки цветов. К моему удивлению, она перестала быть красной и сделалась бархатисто-черной. Я открыл цветную таблицу — все яркокрасное было там черным, как уголь.

На 60 метрах к окну внезапно подплыла рыба и ткнулась в приманку. По величине, форме и общему расположению рисунка и окраски она походила на рыбу-лоцмана. Но была чисто белая с восемью широкими черными поперечными полосами. Я не сразу понял, что дело просто: не может же лоцман на 60 метрах глубины иметь ту синюю окраску, что и на поверхности!

Первые настоящие глубоководные рыбы показались на 120 метрах. Это были рыба-фонарь и бронзовые угри. Из сотен этих рыб, попадавших в наши глубоководные сети, я до сих пор не видал ни одной живой. Большие серебристые угри тыкались носом в приманку, хотя трудно представить, что именно они рассчитывали сделать своими тонкими и нежными челюстями.

Приблизительно на 150 метрах я впервые увидел странные темные формы, клу-

бившиеся вдали. Они никогда не приближались, но потом, глубже, очертания этих тел появились снова. Мимо окна проносились стаи красивых крылоногих молюсков. Они попадались мне живыми в сети, но здесь они были у себя дома, и их были тысячи.

Показалась рыба сантиметров в десять длиной и понюхала крючок с приманкой. Она была почти прозрачна — были ясно видны ее позвоночник и внутренние органы тела. Глаза и наполненный пищей желудок были единственными непрозрачными частями.

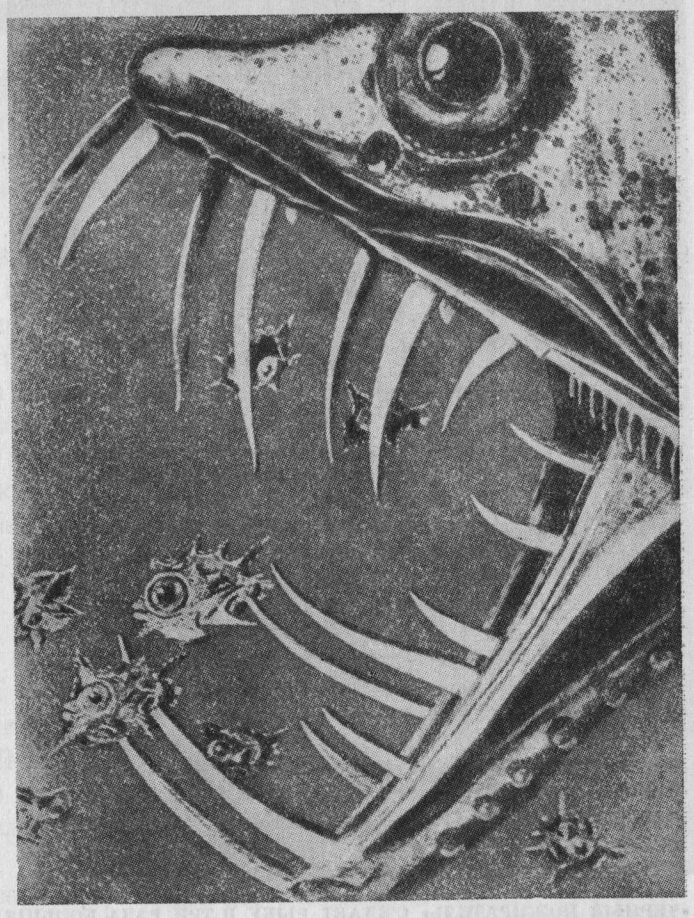
На 170 метрах температура внутри батисферы была 24 градуса Цельсия — всего на 6½ градусов ниже чем на палубе. На этой глубине мимо окна проплыла бледная желатиновая лента. Это была личинка какого-то очень крупного морского угря.

На 183 метрах появились первые светящиеся животные. Мы сразу включили прожектор, но, несмотря на то что снаружи казалось темно, луча в воде почти не было видно. И мы выключили прожектор. Вдали снова появились смутные очертания большого тела, но на этот раз оно было бледнее воды. И мне казалось, что именно там, за недоступными для моего зрения пределами, скрываются какие-то поразительные открытия.

На 200 метрах передо мной промелькнула самая большая из виденных мною до сих пор рыб: она была темная, с длинным суживающимся хвостом. Креветки и молюски проносились мимо окна, как хлопья снега, гонимые неслышной бурей. Большая прозрачная медуза ударилась о стекло. Желудок ее был наполнен светящейся пищей.

Почти сразу на глубине 305 метров искры снаружи стали ярче и многочисленнее. Ряд блестящих, цветных огоньков, двигавшихся перед окном в луче прожектора, оказался стайкой аргиропелеков от полутора до пяти сантиметров длиной, блестевших как серебряная мишура. За резко очерченной гранью луча в черной синеве не было видно ничего, кроме огоньков этих рыб, горевших постоянным, немигающим светом. Со всех сторон тысячи крошечных огоньков чертили зигзаги в окружающей тьме. Мы были первыми, кто видел живых аргиропелеков!

На 355 метрах мы тщательно осмотрели нашу камеру. Кабель не был вдавлен, дверь была абсолютно суха, баллоны с кислородом в порядке, воздух чист и свеж. Стенки батисферы слегка запотели. Расправив не-



КРОШЕЧНЫЙ ХИЩНИК, КАКИМ ОН КАЖЕТСЯ ЖЕРТВЕ

На рисунке изображен сильно увеличенный (в 16 раз) конец головы рыбы-гадюки. Она нападает на крошечных мальков океанской рыбы-солнца. Эти мальки состоят только из глаз и острых шипов и совсем не напоминают мясистой туши, какой они стали бы, если бы им удалось вырасти во взрослую рыбу-солнце.

много руки и ноги, мы снова уселись наблюдать.

На 360 метрах в луч внезапно ворвалась рыба, которую я определил как золотохвостого дракона.

Эта длинная, тонкая, похожая на угря рыба возбужденно крутилась и извивалась в полосе света. Два раза она доходила до края луча и возвращалась обратно, словно натыкаясь на стенку. Наконец она уплыла. Я так и не заметил на ней ни малейших признаков свечения, хотя она обладает по крайней мере тремя стами светящихся органов.

Я обвязал носовым платком лицо, чтобы кварцевая линза не потела от моего дыхания, когда я близко наклонялся к окну.

На глубине 400 метров, заметив множество вспышек, похожих на вспышки летающих светляков, я включил прожектор, но не увидел ничего. Очевидно, то, что их производило, было слишком мало для моих глаз. Вероятно, это были мелкие веслоногие рачки, через массы которых мы время от времени проходили. Включив прожектор на целую минуту, я мог ясно наблюдать, что мы прошли через два слоя, где было очень много мелких животных, а между ними был широкий пояс, где животного населения почти вовсе не было.

В 10 часов 44 минуты мы сидели молча. Наши лица казались синими при свете, проникавшем в окно. Сняв платок, я протер кварц. В этот момент мы почувствовали, что ход батисферы задержался и мы как-то тяжело уперлись в пол. В телефон послышалось: «1400 футов» (427 метров). Затем я ощутил, что мы спустились еще несколько метров и потом спокойно повисли на самой низкой точке этого спуска.

Прижавшись лицом к окну, я посмотрел вверх. В узком отрезке, доступном моему взгляду, синева слегка бледнела. Я посмотрел вниз — там чернел глубокий мрак, и меня снова охватило старое желание спуститься еще глубже.

В это время голос Бартона прогудел мне что-то в ухо. Оказывается, он сообщил мне, что давление на каждый сантиметр моего окна равняется здесь 45,7 килограмма, а общее давление на всю батисферу — 3366,2 тонны. Но как представить себе это давление?

Вот за нежной медузой проплывает рыба-дракон. Крючки с приманкой качаются взад и вперед у окна, край флага, привязанного к вершине батисферы, лениво колышется. И кажется, почему бы нам не открыть двери и не выплыть наружу? Надо призвать на помощь все воображение, чтобы представить себе ту мгновенную смерть, которая была бы результатом малейшей трещины стекла и ослабления металла. Нет, мы не утонули бы: первые брызги воды пронзили бы наше тело и кости, как стальные пули!

Во время под'ема два раза я опять видел смутные очертания очень больших тел. Что это такое? Пока можно только гадать. Быть может, мы увидим их ближе при каком-нибудь будущем спуске.

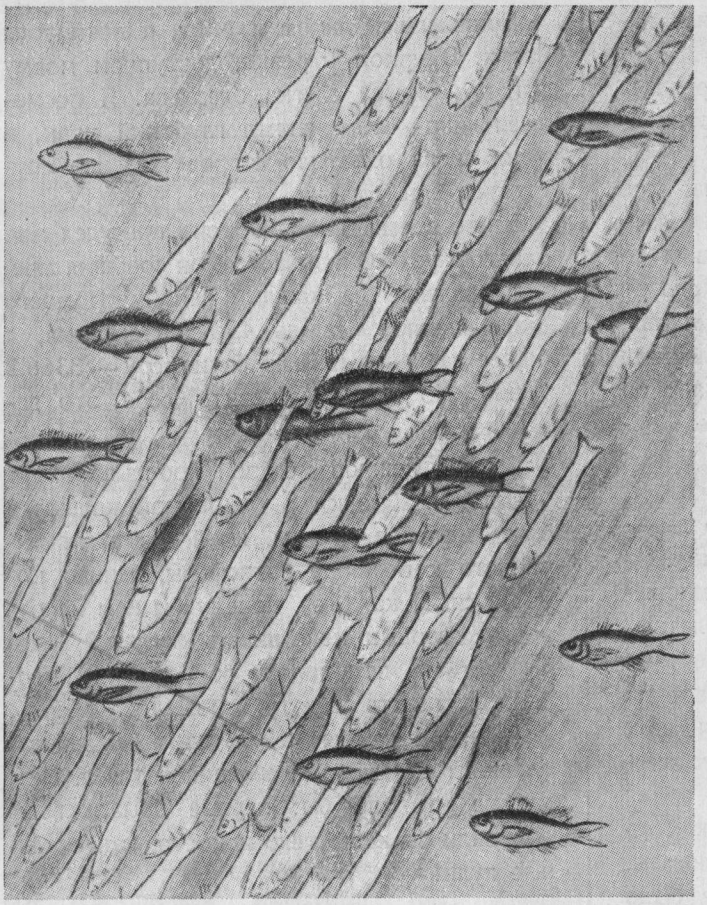
Мы вышли из батисферы в 11 часов 52 минуты — после почти двухчасового спуска, во время которого мы дышали хорошим воздухом, говорили по телефону, зажигали электричество, когда хотели, и видели картины жизни, еще никем не виданной и такой же странной для нас, как жизнь на Луне или Марсе.

НА ПОТОНУВШЕМ ОСТРОВЕ

Долгое время после этого мы не предпринимали глубоких спусков. Мы решили использовать батисферу для точных с'емок дна, для составления подводной карты окрестностей Бермудских островов.

Из батисферы мы могли сделать это почти настолько же скорее водолаза, насколько летчик с самолета снимает карту суши скорее бредущей по земле партии топографов.

Во время одного из таких «топографических» спусков я увидел под нами широкий



ДВЕ СТАЙКИ РЫБ ПЕРЕПЛЕЛИСЬ ТАК, КАК УТОК И ОСНОВА В ТКАНИ.

Когда батисфера медленно спускалась в мелкой воде, сотни гладких сардин торопливо бросились вниз, а рассеянная стайка голубых рыбок спокойно вошла и вышла из толпы своих испуганных соседей.

песчаный пляж, полого спускавшийся по направлению к открытому океану. Это было одно из самых интересных открытий. Перед нами расстилалось древнее побережье Бермуды, утонувшее приблизительно 25 тысяч лет назад, после ледникового периода. В ту эпоху материки были покрыты льдами и океаны были на 75 метров ниже своего теперешнего уровня. И Бермудские острова занимали тогда сотни, а не десятки километров.

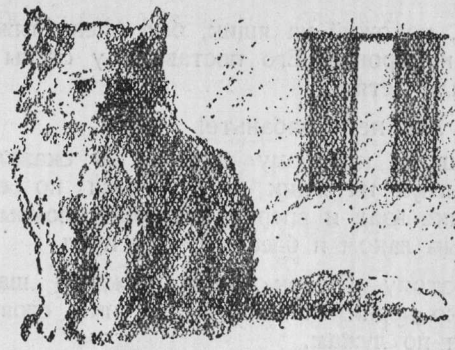
Второе, что поразило меня,—это увеличение с глубиной размера всех рыб, которые обычно ловятся на Бермудах. Такие огромные рыбы, каких видели мы, никогда не попадали в сети рыбаков!

Голубая рыбка и гладкая сардина считаются здесь очень редкими. За семьдесят лет поймали одну единственную голубую рыбку. А между тем на не особенно большой глубине мы встретили сотни голубых рыбок и целые стаи сардин. Увидев батисферу, сардины поворачивали вниз и пролетали мимо, точно продолговатые серебристые дождевые капли. А голубые рыбки оставались как ни в чем не бывало и пропускали мимо себя всю эту убегающую вниз серебристую толпу.

Однажды из батисферы мне пришлось наблюдать курьезный обмен любезностями. Голубые рыбы-попугаи пасутся на жестких кораллах, точно овцы. отрывающие пучки травы. После такой кормежки, когда зубы, челюсти и чешуя на голове рыбы-попугая засорятся крошками коралла, она повисает неподвижно в воде, и к ней со всех сторон собираются стайки крошечных губанов и начинают чистить ей голову. Но губан, конечно, не даром чистит рыбу-попугая: он сам получает при этом готовый корм.

Как-то на довольно порядочном расстоянии от берега я испытал сильное волнение, увидав длинную морскую змею. Мы медленно плыли над зубчатыми холмами, иногда спускаясь в долины и ущелья, как вдруг на дне показалась длинная, волнисто извивающаяся черная лента, то совершенно отчетливо выступающая на песке, то исчезающая в зарослях морских перьев. Внимательно присмотревшись, я понял, что передо мной просто трансатлантический телеграфный кабель, спокойно лежащий на своем месте. Но с тех пор, посылая телеграмму в Европу, я всегда вспоминаю эту картину.

(Окончание в следующем номере)



ПУШОК

Рассказ Р. Фраермана *Рис. Б. Винокурова*

Это был маленький ангорский котенок с шерстью цвета густого дыма, длинной, как у голубого песца.

Он родился в городе. Но не успел еще после рождения хорошенько открыть глаза и посмотреть, что делается вокруг, особенно в большой старой туфле, куда только однажды пришлось ему заглянуть, как его увезли на дачу.

Первое ощущение, какое он испытал в своей жизни, был страх.

Пушок ехал в поезде без билета. А чтобы контролер не мог его заметить, хозяйка накрыла Пушка салфеткой и положила в плетеную из ивы корзину.

Очень скоро Пушку стало скучно сидеть под салфеткой, тем более, что в корзине у хозяйки не было ничего, кроме яблок, на которых лежать было неудобно, а есть их нельзя.

Поэтому Пушок поднялся на ноги и высунул из-под салфетки хвост, такой длинный и пушистый, что женщина, сидевшая напротив, от удивления вскрикнула.

Крик этот испугал Пушка. Он выпрыгнул из корзины вместе с салфеткой и, как птица, взлетев вверх, уселся на полочке для вещей.

И тут его увидел контролер. Он показал на него пальцем и потребовал у хозяйки денег. Это обидело Пушка. А шум, поднявшийся в вагоне, навел на него ужас. И лишь глубокое презрение к контролеру, какое он вдруг ощутил в себе, придало ему храбрости и заставило остаться на месте. Пушок только немного попятился назад, выгнул спину, поднял шерсть и сказал контролеру:

— Псс...

С этих пор, узнав меру своего страха и храбрости, Пушок начал считать себя взрослым.

И верно. Когда через два месяца я приехал на дачу, то застал Пушка уже большим котенком, вполне знающим себе цену.

Жил он на втором этаже, на балконе, и спал тут же на мешке, сложенном вчетверо. Это было удобное место, всегда теплое, солнечное. Отсюда можно было видеть, как клубится и закипает от ветра лес над оврагом, как блестит молодая листва на березах, растущих у самого забора. Затем отсюда легко было забраться на крышу и напугать галок, стучавших по жести своими толстыми клювами. Отсюда, наконец, можно было совершенно равнодушно смотреть вниз на хозяйских собак, вечно надоедавших Пушку своим громким лаем.

Пушок не боялся их.

После истории с контролером он уже никого не боялся, но отвращение к существам шумным и глупым осталось в нем навсегда.

И, следует правду сказать, то были глупые собаки — три лягавых суки, которых звали Трильби, Сильва и Бианка.

По будням они ходили с хозяином на охоту на большое болото, расположенное за колхозным лесом, а по праздникам, когда хозяин вместо кепки надевал новую фетровую шляпу, собаки не узнавали его и набрасывались с такой яростью, что ему приходилось обороняться от них палкой.

При этом хозяин кричал:

— Черти, на кого вы лаете?!

Впрочем, самого хозяина Пушок считал ничуть не умнее его собак.

Хозяин был толст, учен, много говорил и для чего-то собирался разводить в большой яме, вырытой под горой, карасей и раков.

Но Пушок-то хорошо знал, что караси живут в реке и достать их оттуда трудно. Знал он еще, что ходить по росе рано утром в погреб очень неприятно, хотя как раз в это время там можно кое-чем поживиться. Знал он также и то, что когда хозяйка начинает точить ножи о плиту, нужно бежать на кухню.

Словом, Пушок много знал, и казалось, что после долгой весны, проведенной им в деревне, ничто в жизни уже не может удивить его.

Все же два предмета, привезенные нами на дачу, несколько заинтересовали Пушка. Один, похожий на ящик, был очень тяжелый и дорогой. Его поставили у стены и сказали детям:

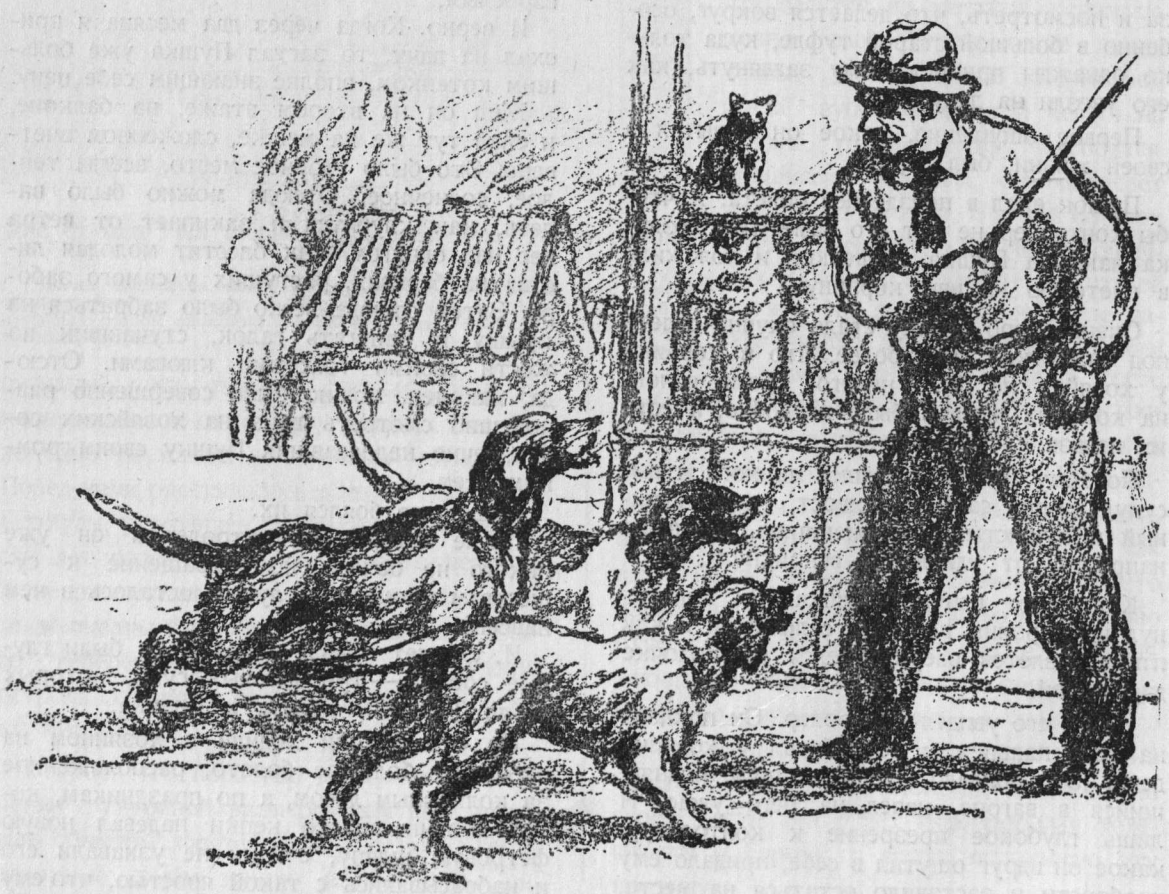
— Зря не барабаньте!

Пушок, которому ничего не сказали, вспрыгнул на ящик и прошелся по его крышке взад и вперед. Она была покрыта черным лаком и блестела, как пруд.

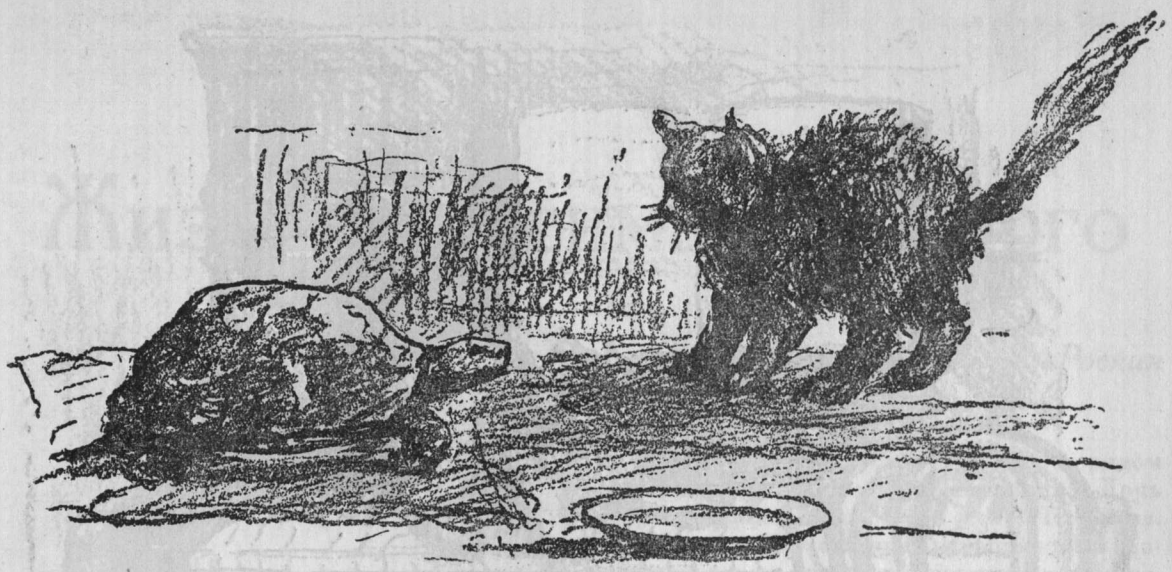
Поэтому Пушок после каждого шага высоко поднимал лапы и тряс ими, словно ходил по лужам.

Другой предмет был легкий и показался Пушку простым серым камнем. Принес его мальчик в красном галстуке и осторожно положил на балкон, в угол, затем поставил перед камнем блюдце с молоком.

Пушок, лежа на своем мешке, с минуту неподвижно смотрел на мальчика, показавшегося ему таким же глупым, как хозяин и его собаки. Кормить камень молоком!



— Черти, на кого вы лаете?!



Вдруг камень тронулся и пошел.

Пушок подождал немного, пока мальчик уйдет, потом встал, подошел к блюдцу и начал лакать молоко, не обращая внимания на камень.

И, пожалуй, из этого не вышло бы никакой истории, если бы Пушок в тот момент не услышал, что хозяйка на кухне точит ножи.

Пушок со всех ног бросился туда и поспел как раз вовремя. Хозяйка готовила на обед котлеты и вырезала из мяса жилки и болонь.

Поев жилок и болони, Пушок вернулся к себе на балкон, чтобы долакать молоко. Но блюдечко было уже пусто, а камень лежал на подстилке, где обычно после обеда спал Пушок. Все это было очень досадно. Но что поделаешь? Жаловаться было некому.

Потягиваясь всем телом, Пушок подошел к камню и, зевнув, сел рядом. Он решил поспать.

Глаза его, синие как у всех ангорских котов, стали совсем узенькими. Он с досадой покосился на камень, занявший его место на подстилке, и зевнул еще раз.

Вдруг камень тронулся и пошел. Пушок вскочил на ноги. Сон его мгновенно пропал. Он зашипел, стал круглым, точно его надули воздухом. А камень все двигался прямо на Пушка. Тогда Пушок закричал от ужаса. Он подскочил вверх метра на два, перевернулся и упал на перила балкона. С перил, перемахнув через весь балкон, он ворвался в комнату и забился под кровать.

И даже через час, когда Пушок вылез из-под кровати, лапы у него все еще дрожали и сердце билось так сильно, что мне пришлось дать ему несколько капель валерианки.

От валерианки он опьянел немного, успокоился и уже не мог вспомнить, было ли на самом деле или только показалось ему, будто он видел у камня серую змеиную голову и четыре лапы.

Однако на балкон Пушок больше не пошел. Весь вечер он просидел со мной в комнате.

Он не отходил от меня. Я не шевелился. После долгой охоты по лесам и болотам я устал и теперь сидел на табурете неподвижно, вытянув ноги.

Так же неподвижно сидел на полу возле меня и Пушок. Он задумчиво смотрел на мои охотничьи сапоги.

Случайно я двинул ногой.

Пушок фыркнул и отскочил: мой пыльный высохший, будто каменный сапог он принял за черепаху.

Я двинул ногой еще раз. Пушок весь изогнулся, и даже на животе его шерсть встала дыбом.

Когда же я двинул ногой в третий раз, Пушок от страха вскочил на пианино, на клавиши.

И тотчас же звон раздался из-под его лап. Пушок дрожа сделал несколько ша-

Пушок от страха вскочил на пианино.

гов, звон усилился, будто тысячи ос гудели над его головой. Он поджал одну лапу, потом другую, тряхнул ею, словно желая сбросить с нее этот звук, но гудение не прекращалось. Он пополз на животе. Теперь уже гром беспрерывно потрясал его тело. Гром полз вместе с Пушком, все возрастая. Пушок посмотрел на меня. В его глазах было отчаяние, страх, мольба о помощи. Я рассмеялся. Он жалобно мяукнул и обмер.

Когда Пушок пришел в себя, он был уже другим котенком, который никогда не посмел бы подумать, что он все на свете видел и все знает.

Жизнь Максима Горького

А. Роскин

Детство

Горем дышим, горем одеваемся.
Поговорка.

Дождливый день, пустынный угол кладбища, липкая земля, гроб, две лягушки на крышке гроба — вот и все, что сохранила память Горького об отце.

И если бы не бабушка, может быть, Горький ничего и не знал бы о нем: простой русский человек исчезал из жизни бесследно, не оставляя ни документов, ни писем, ни изображений своих.

Из рассказов бабушки об отце Алеша узнал в конце концов лишь одно, что маленьких всегда бьют: Алешу истязал дед Василий Каширин, отца алешиного истязал дед Савватий Пешков.

Страшный это был человек — солдат Савватий Пешков.

Служил он долго и выслужился до офицера, но к подчиненным относился так жестоко, что его лишили офицерского чина и сослали в Сибирь.

Вероятно, Савватий Пешков оказался повинен в поистине зверских расправах: ведь служил он в такие времена, когда жестокость с солдатами признавалась неоспоримым достоинством офицера.

Потеряв власть над подчиненными, Савватий Пешков все звериное, что в нем было, обратил, казалось, на сына — Максима.

Много раз пытался Максим убежать из дому. Солдат гонялся за ним с собаками и, поймав, бил едва не насмерть.

Когда Савватий Пешков умер, Максим бросил родину и, пройдя пешком сибирские места, очутился на Волге — в Нижнем. Он поступил учеником в столярную мастерскую и научился ремеслу краснодеревщика, драпировщика и обойщика.

Столярная мастерская находилась рядом с красильным заведением Каширина. Дочь красильщика, Варя, стала женой Пешкова.

Максим Савватьевич перебрался к Кашириным, и здесь, в мещанском домике, на одной из скучных и печальных нижегородских улиц, родился в 1868 году у Пешковых сын — Алеша.

Отцу посвятил Горький лишь несколько страниц в своем «Детстве». Но перечитываешь эти страницы, и все сильнее чувствуешь, что хорошим человеком был Максим Савватьевич, и начинаешь понимать, почему Горький избрал своим псевдонимом имя отца.

Максима Савватьевича в молодости травили точно зайца и истязали словно солдата в арестантской роте, и все же он вступил в жизнь беззлобным и веселым.

А у Кашириных люди своей жестокостью напоминали Савватия Пешкова. Здесь ненавидели друг друга никогда не угасавшей, звериной ненавистью.

— У Кашириных дерутся! — кричали уличные мальчишки, и крик этот раздавался чуть ли не каждый день.

Драки были шумные, о каждой из них знали соседи. Но когда били на смерть, били тихо, по-воровски. Так у Кашириных убили трех женщин. Сыновья хозяина дома, красильщика Василия Васильевича, неприметно для других расправлялись со своими женами.

Максим Савватьевич чувствовал себя чужим в каширинском доме, и за это его возненавидели. Однажды зимой братья Каширины бросили его в прорубь. Максим Савватьевич едва спасся.

Он никому не пожаловался, а только оставил каширинский дом.

Пешковы уехали по Волге вниз, в Астрахань.

Здесь случилось в семье Пешковых несчастье. Четырех лет Алеша заболел холерой: она была частой гостьей полуазиатского города. Мальчик остался жив, но заразил отца, и Максим Савватьевич умер.

Алеша попал снова в Нижний, вновь оказался в семье, где чуть не убили его отца.

Бесконечные попреки, дурацкая ругань, жестокие порки, жадные разговоры о деньгах и унылые призывы к богу — вот чем заполнялась жизнь Кашириных.

Страшна была эта жизнь, но еще страшнее было то, что и все кругом казалось таким же темным, каширинским.

Алеша смотрел из окна на улицу и видел: направо огромное желтое здание арестантских рот, налево — острожную площадь и серое здание тюрьмы с четырьмя башнями по углам.

А между ротами и тюрьмой, среди непросыхающей трясины улицы, стояли приземистые дома с выпученными окошками. Дома были розовые, зеленые, белые, но всюду в них, как у Кашириных, ссорились из-за пригорелого пирога и скисшего молока, так же жили мыслями о горшках, самоварах, курицах и блинах, так же развлекались именинами и поминками, сытостью до ушей и вышивкой до свинства.

Это о Нижнем сложилась пословица «Дома — каменные, люди — железные».

Точно в глубокой яме чувствовал себя Алеша Пешков.

Но были в его детстве и радости.

Самой большой радостью была бабушка Акулина Ивановна, которая через много лет стала дорога миллионам читателей «Детства» как самый близкий человек.

Акулина Ивановна поддержала в Алеше Пешкове простую и удивительную веру в человеческое счастье, не дала каширинскому мраку завладеть душой ребенка.

Она обладала житейской мудростью, и это была не скупая и почерневшая мудрость старого, много натерпевшегося человека: бабушка жалела людей, знала лес и любила сказки и эту жалость, знание и любовь передавала своему внуку словами, похожими на цветы.

Сказки внушали уверенность, что есть кто-то умный и смелый, есть хороший человек на земле.

Однажды этот человек появился совсем

Пристань в Нижнем Новгороде.

близко — в самом каширинском доме. Жилец, поселившийся в комнатке рядом с кухней, устроил лабораторию и производил какие-то опыты. Странным казалось не столько то, что этот сутулый и худой человек в очках возился с медными весами, спиртовкой и чертежами, а то, что он не получал за свою возню денег и не искал их.

Был он тихий и очень одинокий; его, конечно, у Кашириных терпеть не могли, и дед в конце концов попросил жильца с'ехать.

Жилец исчез со своими весами и чашечками, но Алеша его не забыл.

Он чувствовал теперь твердо, что хороший человек — не выдумка. Он есть, и его надо искать всюду, где люди отличались от жителей Полевой или Канатной, улиц горьковского детства.

И Алеша готов был пойти с кем угодно, только бы двигаться, не жить неподвижно.

Мимо каширинского дома часто проходили люди в серых халатах — арестанты. Их вели на пристань, где сажали на пароход, который увозил их очень далеко. Алеша завидовал им. Лучше идти под конвоем, с кандалами на ногах, но все же идти.

Однажды по улице шли каторжники. Один из них, с большим красным шрамом на лбу, с изуродованным ухом, был страшен.

Алеша шел за ним по панели. Вдруг каторжник весело крикнул:

— Айда, парнишка, прогуляйся с нами!

Алеша сейчас же подбежал к каторжнику. Конвойный оттолкнул, а то бы Алеша пошел с этим человеком—все равно, лишь бы пойти и больше не вернуться.

Скука давила его. Иногда Алеша сопротивлялся ей бешеным озорством: лез на крышу и затыкал печные трубы, сыпал соль в котелок со щами, вдувал из бумажной трубки пыль в механизм стенных часов.

Зачем он это делал, он и сам не знал.

Но иногда жестокости, которые раскрывала перед ним жизнь, вызывали в нем иное — ненависть. Алеше пришлось быть свидетелем того, как вотчим избивал его мать, ударяя ее носком сапога в грудь. Алеша схватил нож и бросился на вотчима.

Десяти лет Горький пошел в люди. Мать его умерла, вотчим проигрался в карты и лишился службы, дед разорился: надо было самому зарабатывать.

Он служил мальчиком в магазине обуви и посудником на пароходе, работал у чертежника и в иконописной мастерской, занимался собиранием старья и ловлей птиц.

В самые ранние годы опорой его была бабушка. Теперь — книги.

Путь Горького к книге был труден. Грамоте обучал его дед — по церковным книгам, потом мать — по «гражданским», и учение это было таким же жестоким, заполненным попреками, обидами и наказаниями, как учение торговому делу или черчению.

А в школе, где недолго пробыл Горький, ученики дразнили его ветошником и нищебродом, учитель, с медным, как будто окисшим лицом, почему-то нестерпимо к нему придирался.

Но когда Горький, наконец, добрался до книги, она вошла в его жизнь как нечто самое большое, важное и радостное.

Книги, прочитанные Горьким в детстве, были пестры, как люди, с которыми он встречался на своем пути. Он брал книги у поваров и закройщиц, гимназистов и певчих, лавочников и богомазов, и потому ранним чтением Горького были старинные книжки с загадочными названиями вроде «Меморий артиллерийских», пахнувшие трактиром, лубочные книжки, приключенческие романы французского писателя Понсон дю-Геррайля.

Среди этого хлама Горький случайно наткнулся на книги великих французских писателей — Бальзака и Флобера.

Однажды в праздник, забравшись на крышу сарая — подальше от людей,— он прочел «Простое сердце» Флобера, рассказ о том, как кухарка прожила свою немудрую жизнь. Обыкновенные слова, уложенные в обыкновенные фразы, трогали, волновали, и рассказ казался чудом.

Он не мог разгадать это чудо, но теперь на смену любимым книжкам лавочников, певчих и закройщиц пришли книги, которые уже он сам любил трогательной и глубокой любовью,— Пушкин, Гоголь, Тургенев и Лермонтов.

Жизнь казалась Горькому тюрьмой, а книги птицами, пение которых доносится до заключенного.

Книги убеждали его, что вырваться на свободу можно.

В каком-то журнале он увидел однажды портрет знаменитого ученого Фарадея и прочитал статью, из которой узнал, что Фарадей был простым рабочим.

Это поразило Горького, показалось ему невероятным.

Он заинтересовался: нет ли еще каких-нибудь знаменитых людей, которые ранее были рабочими? В журналах не нашел больше никого, но знакомый гимназист назвал Горькому Стефенсона. Изобретатель паровоза тоже был рабочим.

Горький мечтал не о славе, а о жизни, которую можно было бы называть человеческой.

Он твердо решил учиться.

Гимназист, назвавший ему имя Стефенсона, советовал ехать в Казань—там был университет.

Без сожаления расставался Горький с Нижним, с его чердаками и подвалами, с его людьми.

Было Горькому тогда 15 лет.

„Грохало"

«Если бы мне предложили:

— Иди, учись, но за это по воскресеньям на Николаевской площади мы будем бить тебя палками, — я, наверно, принял бы это условие».

Так писал Горький в своих воспоминаниях.

Учиться ему все же не удалось.

По приезде в Казань Горький понял, что ему, нижегородскому мещанину, бездомному человеку, в университет не попасть.

Его ждало иное — подвалы окраинных домов, речные пристани, подпольные кружки, знакомство с босяками, полицейскими, студентами, революционерами.

Таков был «университет», в который попал Горький...

Жилье для себя Горький нашел на унылом пустыре, в подвале развалившегося дома, а работу — в Устье, на речных пристанях. Платили ему пятиалтынный или двугривенный в день.

Он очутился среди пестрого населения пристаней: грузчиков, жуликов, нищих.

Странными и нередко непонятными казались они Горькому. Но все же он находил, что босяки лучше тех обыкновенных людей, которые жили в своих домишках с окованными железом сундуками и убранными цветной бумагой окошками: босяки пили, дрались и воровали, но не жадничали, не копили денег, не жаловались на жизнь, о мещанах говорили презрительно, нередко проявляли настоящую человечность.

Однажды кто-то украл хорошие охотничьи сапоги; решено было их пропить. Но один из босяков — больной и за несколько дней перед тем избитый полицией — сказал, что следует пропить только голенища, а головки отрезать и дать «студенту», который ходил в развалившихся опорках:

— Застудит ноги — сдохнет, а человек хороший.

Многие из этих людей напоминали Горькому живописные персонажи авантюрных повестей.

Но не одни герои книжных приключений привлекали Горького: в нем жила мечта о чем-то более значительном.

Друзья Горького привели его в бакалейную лавочку на окраине города. Владельцем ее был революционер Андрей Деренков. В лавочке торговали сахаром, свечами, карамелью и мылом, но в комнате, позади лавки, висел портрет Герцена и хранилась библиотека запрещенных книг.

На смену повестям и романам пришли книги ученых, мыслителей и революционеров.

Книги эти привели Горького в тайные студенческие кружки.

Это был вольный университет революционной молодежи.

В кружках Горького называли «Грохалой» не за один его громкий, окающий бас... Он успел узнать жизнь неизмеримо глубже многих товарищей, и потому замечания его часто ошарашивали своей едкой неожиданностью.

— Ты, брат, не на то обращаешь внимание! — сердито упрекал Горького один из его учителей.

Две булочных

В рассказе сильно чувствуется тесто, пахнет бубликами,
(Из письма А. П. Чехова Горькому)

Пришла осень. Последние пароходы спешили в затоны, пристани вымерли, работы на реке больше не было.

Горький бродил по застывшему Устью, мимо пустых ларей и заколоченных досками зданий.

Он голодал, ночевал где попало, даже на берегу, под опрокинутой лодкой, и с грустью убеждался, что осень — плохое время для бесприютного человека.

Горькому пришлось искать в городе работу — любую, лишь бы она дала ему пристанище.

За три рубля в месяц он нанялся подручным пекаря в крендельное заведение Семенова.

Заведение Семенова помещалось в подвале. Окна крендельной упирались в яму. Хозяин забил их железом, чтобы рабочие не могли подавать хлеб нищим.

В этом подвале Горький должен был по четырнадцать часов в сутки укладывать кренделя в форме буквы «В». Горький давно успел узнать, что такое тяжелый физический труд, но работа у Семенова показалась и ему, сильному и необыкновенно выносливому юноше, изнурительной, подчас нестерпимой. Иногда Горького охватывало такое чувство, точно три этажа дома, где помещалась крендельная, были построены прямо на его плечах.

Семья хозяина булочной, на фотографии надпись Горького.

Соседи по дому назвали семеновских рабочих «арестантиками». Они не ошибались.

Семенов не только изнурял своих «ребят» четырнадцатичасовой работой, но и непрестанно издевался над ними, избивал, штрафовал и наказывал, точно пекарня в самом деле была арестантскими ротами.

Однако Семенову пришлось убедиться, что у него внизу, в подвале, есть человек, сломить которого ему не удастся.

Даже за работой Горький не расставался с книгой. Он устроил из лучины нечто вроде пюпитра и ставил на него книгу. Это позволяло ему читать и одновременно укладывать кренделя на лубки.

Однажды, войдя неожиданно в пекарню, Семенов застал Горького за чтением Льва Толстого. Хозяин хотел бросить книгу в печь.

— Жечь книгу нельзя! — сказал Горький, схватив Семенова за руку.

Это было сказано так внушительно, что Семенов вернул ему книгу и молча ушел.

В другой раз, когда хозяин издевался особенно нагло, Горький спокойно схватил его за ухо и оттрепал. Семенов так привык к рабской покорности рабочих, что скорее оторопел, чем рассердился.

Знакомства с революционерами помогли ему избавиться от службы у Семенова.

Андрей Деренков устроил булочную — доход с нее должен был идти на революционные цели. В булочную нужен был помощник пекаря, и Горький был для этого самым подходящим человеком.

Он перебрался от Семенова в булочную Деренкова, месил тесто, сажал хлеб в печь и относил булки в студенческую столовую. В своей корзине Горький нередко прятал революционную литературу, которую вместе с булками должен был незаметно сунуть в руку кому-нибудь из студентов.

Заведение Деренкова вызывало подозрение.

— Читать любишь? — выспрашивал Горького городовой Никифорыч.— Какие же книги, например?

Никифорыч зазывал помощника пекаря к себе в будку и заводил беседу о студентах и врагах народа.

— Незримая нить,— об'яснял Никифорыч,— как бы паутинка исходит из сердца его императорского величества государя императора Александра третьего и прочая, проходит она сквозь господ министров, сквозь его высокопревосходительство губернатора и все чины вплоть до меня и даже до последнего солдата. Этой нитью все связано, все оплетено. Незримой крепостью ее и держится на веки вечные государево царство... Понял?

Горький понимал. Он уже сам все яс-

нее ощущал эту незримую нить, нить сыска и доносительства...

Вся жизнь опутывалась этой нитью. С ее помощью правительство выхватывало из подполья революционеров, бросало их в тюрьму, отправляло на каторгу.

Опутывала незримая нить и людей послабее, тех, кто видел несправедливости жизни, но не находил в себе сил вступить в борьбу.

Вокруг каждого еще не согнувшегося человека образовывалась пустота — выбраться из нее было трудно.

Пустоту эту начинал постепенно чувствовать и Горький.

Жизнь в булочной Деренкова была легче чем в крендельной Семенова, но и здесь работа отнимала целый день, нередко и часть ночи. Усталым приходил Горький в свою каморку и, придвинув к книге маленькую лампу мутноголубого стекла, принимался за чтение.

В эти ночные часы Горький запасался обширными знаниями. На опрокинутом ящике — он служил Горькому столом — рядом с Пушкиным лежал труд физиолога Сеченова «Рефлексы головного мозга».

Часто, закрыв книгу, он мечтал о другой жизни, умной и увлекательной, которая должна была где-то существовать.

Он завел тетрадку, куда между выписок из прочитанных книг заносил стихи собственного сочинения. Писал о несчастном своем друге стекольщике Анатолии, о весеннем снеге, который грязной водой стекает в подвал пекарни, и еще — о Волге, которую любил. Тетрадь эту Горький тщательно прятал от всех.

„Случай из жизни Макара“

Вы, сударыня, знаете, без сомнения, какое-нибудь средство против зубной боли? А у меня зубная боль в сердце. Это скверная боль, и ей очень хорошо помогает свинец с тем зубным порошком, который изобретен Бертольдом Шварцем.

Генрих Гейне.

Из Нижнего пришло письмо — умерла бабушка, единственный на всем свете близкий и дорогой Горькому человек...

Стояла осень, шли бесконечные дожди, казалось, что незримая паутина, о которой говорил Никифорыч в своей будке, охватила и словно больную природу.

Горький вспоминал прошлое, бабушку, чудесные хождения в лес, книги—это было хорошее и светлое, все же остальное угнетало, как эта долгая осень.

Максим Горький во время жизни в Казани.

По ночам из каморки Горького раздавались унылые звуки — от тоски он стал учиться играть на скрипке...

Этот год принес множество самоубийств. В предсмертной записке один студент писал об «ускоренном выходе из жизни».

К ускоренному выходу из жизни стремились и некоторые друзья Горького. Застрелился Музыкантский, студент с длинными волосами и всегда печальным лицом...

14 декабря 1887 года в казанской газете «Волжский вестник» появилась заметка:

«12 декабря, в 8 часов вечера, в Подлужной улице, на берегу реки Казанки, нижегородский цеховой Алексей Максимов Пешков выстрелил из револьвера себе в левый бок, с целью лишить себя жизни. Пешков тотчас же отправлен в земскую больницу, где при подании ему медицинской помощи рана врачом признана опасной. В найденной записке Пешков просит никого не винить в его смерти».

О том, почему «нижегородский цеховой

Алексей Максимов Пешков выстрелил из револьвера себе в левый бок»,— об этом через четверть века об'яснил сам Горький в рассказе «Случай из жизни Макара». То был только случай, но случай трагический, который еще раз напомнил о неизмеримо трудном жизненном пути Горького.

Приняв решение покончить с собой, Горький отправился на базар и купил там за три рубля тяжелый тульский револьвер.

Ночью Горький пошел за город...

Его нашли лежащим в снегу на краю ската к реке и отвезли в больницу. В кармане у него обнаружили странную записку:

«В смерти моей прошу обвинить немецкого поэта Гейне, выдумавшего боль в сердце. Прилагаю при сем мой документ, специально для сего случая выправленный. Останки мои прошу взрезать и осмотреть, какой чорт сидел во мне последнее время.

Из приложенного документа видно, что я А. Пешков, а из сей записки, надеюсь, ничего не видно».

Врач об'явил, что через три дня раненый умрет. Слова эти донеслись до сознания Горького.

— А я не умру,— сказал он.

Профессор рассердился. Поведение больного, видимо, показалось ему невежливым.

Горький не умер.

В дни выздоровления, медленного и тяжелого, в палату к Горькому пришли его старые товарищи — рабочие из крендельной Семенова. От них он услышал простые, ласковые человеческие слова. И Горький почувствовал, что «зубная боль в сердце» утихла и жить хочется.

Сельская лавка

Он вернулся в булочную Деренкова, но не надолго.

Сюда заходил иногда Антон Михайлович Ромась. Сын кузнеца, бывший железнодорожный рабочий, старый революционер, перенесший уже десять лет царской ссылки, он производил впечатление человека необычайной силы и непоколебимого спокойствия.

Ромась обратил внимание на помощника пекаря и понял, что Горькому следует помочь жить.

Ромась позвал Горького к себе в приволжское село Красновидово. Здесь у Ромася была мелочная лавка, которую он держал, чтобы вести революционную пропаганду среди крестьян.

Горький поехал к Ромасю.

В Красновидове он впервые лицом к лицу столкнулся с крестьянами. И с каждым днем жизни в Красновидове охватывало его все более тяжелое чувство. Во многих прочитанных Горьким книжках мужик изображался существом мечтательным и простодушным. В Красновидове Горький увидел другое — слепую злобу и волчью жадность. Из-за разбитой глиняной корчаги три семьи дрались кольями, переломили руку старухе и разбили череп парню. И такие драки возникали чуть ли не каждую неделю.

Красновидовские богатеи ненавидели Ромася и его лавку. Вечерами около лавки собиралась толпа. По адресу Ромася раздавались злобные выкрики.

Вскоре по приезде Горького кулаки начали действовать.

Крестьянин Изот дружил с Ромасем — его нашли на берегу мертвым, с разбитым черепом.

В самого Ромася стреляли из ружья.

Потом в избе, где жил Ромась, кулаки взорвали печь, начинив полено порохом. Наконец, подожгли и лавку и избу. Огонь захватил Горького на чердаке. Он выбросился в окно, завернувшись в тулуп.

Лавка Ромася сгорела. Горькому пришлось искать новое пристанище.

Он покинул Красновидово. Вместе со своим товарищем, Бариновым, Горький отправился по Волге — вниз, к Астрахани. Плыли долго, то зайцами на пассажирских пароходах, то нанимаясь матросами на баржи. Наконец, достигли Каспия. Здесь Горький впервые увидел море, и здесь недавний пекарь и сиделец в лавке занялся трудом рыболова.

Железнодорожный сторож

Неприютной и чужой показалась Горькому Казань по возвращении с Каспия. Лавки Деренкова уже не было, исчезли и многие старые знакомые.

В городе для Горького работы не нашлось. Он поступил на глухую железнодорожную станцию Добринку ночным сторожем.

Еще давно, в детстве, он мечтал вырваться из города, жить где-нибудь в лесной сторожке или на забытом людьми полустанке.

И вот детская мечта исполнилась. Но оказалось, что жизнь и здесь преследовала его.

Каждый день с шести вечера до шести утра ходил Горький с палкой вокруг пакгаузов, охраняя мешки с мукой.

Горькому удавалось охранять муку от воров из соседних казачьих станиц. Но воровали не они одни: воровал сам начальник станции, огромный человек с рачьими глазами и черной бородой, которого звали Африкан. Когда в Добринку приходили вагоны с юга, с Каспия, Африкан взламывал их — они были тружены персидскими шелками и восточными сладостями. Краденое сбывалось, и на вырученные деньги Африкан устраивал дикие попойки, в которых заставлял участвовать и Горького.

К счастью, Горькому пришлось прослужить на станции лишь несколько месяцев. Его возненавидела кухарка Африкана. Такая же огромная, как сам Африкан, баба эта грозилась:

— Затираню!

И Горький после ночного дежурства должен был по приказу кухарки работать на дому у Африкана за дворника, истопника и конюха.

Горький написал жалобу в правление дороги. Едва ли там стали бы разбирать жалобу ночного сторожа на какую-то кухарку... Но Горькому пришло в голову изложить свое заявление стихами. Изнывавшие от скуки железнодорожные чиновники прочли забавную бумагу. Начальство решило смягчить судьбу Горького. Его перевели сперва в уездный город Борисоглебск, на товарную станцию — смотреть за мешками и брезентами, а потом весовщиком на станцию Крутая.

На затерянной в степи станции человек чувствовал себя одиноко, сердце здесь сжималось от чувства пустоты. Свистели суслики, ныли комары, гудели редкие поезда,— и это было все, чем жизнь напоминала здесь о себе. В Борисоглебске были хоть книги, и после возни с мешками и брезентами Горький оставался наедине с Гейне или Шекспиром. А здесь не было ничего кроме зачитанных номеров журнала «Нива».

„Песнь старого дуба“

Горькому шел 22-й год. Надо было призываться на военную службу.

Он оставил Крутую и отправился пешком на родину.

Была весна, но попасть в Нижний Горький надеялся только осенью. Он шел по Донской области, побывал в тамбовских и рязанских местах, заглядывал в станицы, деревни, монастыри, зарабатывая себе на хлеб случайной работой прохожего человека.

Это было первое путешествие Горького по России.

Горький явился в Нижний с литературным багажом. В котомке у него лежала тетрадь стихов и поэма под названием «Песнь старого дуба». Автор был от нее в восхищении.

В солдаты Горького не взяли.

— Дырявый, пробито легкое насквозь!— заявил военный врач.

Надо было устраиваться. Бывший поваренок, крендельщик, статист в театре и железнодорожный сторож нанялся чернорабочим на склад пива и разносчиком баварского кваса.

Прохожие оборачивались на него—одевался он так: широчайшая шляпа оперного бандита, белая куртка повара и синие шаровары городового.

Обратила внимание на Горького и полиция. Но ее занимала не странная одежда разносчика баварского кваса.

В ту пору в Нижнем проживало много революционеров.

Человек в куртке повара и шаровары городового стал появляться на собраниях нелегальных кружков.

Поселился Горький на одной квартире с двумя высланными из Казани политическими—бывшим учителем Чекиным и бывшим студентом Сомовым.

Это вызвало особое подозрение властей. Вокруг дома, где жили Горький и его товарищи, появились сыщики. О нижегородском мещанине Алексее Пешкове были разосланы запросы в разные города.

Вскоре власти получили приказ из Петербурга арестовать Сомова. Однако полиция уже не застала его: Сомов скрылся. Стали опрашивать Горького.

«Держал себя при этом опросе Пешков в высшей степени дерзко и даже нахально» — донесли начальству жандармы.

Горького арестовали и посадили в ни-

Максим Горький в 90-х годах в Самаре.

жегородскую тюрьму, в одну из четырех ее круглых башен.

— Какой вы революционер? — брезгливо сказал ему на допросе жандармский генерал. — Вы тут пишете стихи и вообще... Вот когда я выпущу вас, покажите ваши рукописи Короленко — знакомы с ним?

И на прощанье добавил:

— Вам учиться надо, ну, там—писать, а не это...

«Это»—значило революционная работа. Генерал не предвидел, что через несколько лет именно писания Горького станут предметом величайшей тревоги жандармов.

В тюрьме Горький просидел месяц. Его выпустили, но он уже был «неблагонадежный»—человек, находящийся под непрестанным наблюдением полиции.

От революционной борьбы Горький не отказался. Но одному совету жандармского генерала он все же последовал: он отправился к Короленко.

Суровый и неуклюжий, Горький положил перед Короленко «Песнь старого дуба» — ту, что так нравилась ему самому.

Короленко перелистал толстую рукопись...

— Тут у вас написано «зизгаг», — это, очевидно, описка, такого слова нет, есть зигзаг...

Горький почувствовал благодарность к известному писателю за то, что тот пощадил самолюбие начинающего автора: увы, «зизгаг»-то была не описка.

Через несколько дней Короленко прислал обратно рукопись. На обложке ее он написал:

«По «Песне» трудно судить о ваших способностях, но, кажется, они у вас есть. Напишите о чем-либо пережитом вами и покажите мне. Я не ценитель стихов, ваши показались мне непонятными, хотя отдельные строки есть сильные и яркие».

Не писать ни стихов, ни прозы — так решил после этого Горький.

Решение было серьезное. Два года жил он в Нижнем и за это время ни разу не брался за перо.

Но надо было жить чем-то другим кроме перекатывания в подвале пивных бочек.

А все складывалось так, что и здесь, в Нижнем, Горький начинал чувствовать знакомую уже пустоту, напоминавшую о днях жизни на унылой станции Крутой...

Ему казалось, что хорошо было бы уехать куда-нибудь очень далеко. Принялся хлопотать о зачислении добровольцем в топографическую команду — знакомый офицер обещал взять его с собой на Памир. Но в команду Горького не взяли: ведь он был теперь «неблагонадежный».

Однажды, летней ночью, Горький сидел на Откосе, отсюда видна была Волга и туманная пелена над заречными лугами.

Неслышно рядом с ним сел на скамейку человек с курчавой бородой.

Это был Короленко.

— Что же,— спросил он,— пишете вы?

— Нет.

— Жаль. Я серьезно думаю, кажется, у вас есть способности. Плохо вы настроены, сударь...

То была правда: Горький был настроен плохо. В литературный свой дар он теперь не верил, книжные споры интеллигентов утомляли и казались ненужными.

Он бросил Нижний и снова пошел бродить по Руси.

Странствия

Это в высшей степени подозрительный человек — начитанный, хорошо владеющий пером, он исходил почти всю Россию (все большей частью пешком).
(Из полицейского дела о Горьком).

Горький шел по Волге. В Царицыне он расстался с рекой и двинулся через степь.

В Ростове он остановился. В грязном ростовском порту нашлась работа — таскать с турецкого парохода тюки сырой кожи и ящики с табаком.

Из Ростова Горький пошел дальше. Он побывал на Украине, оттуда попал в Бессарабию и достиг берегов Дуная — самой границы Румынии.

Через несколько лет жандармские власти в одном из донесений в Петербург сообщили о Горьком:

«Пешков, пройдя пешком из Нижнего Новгорода в Бессарабию, хотел оттуда проникнуть в Румынию, чтобы затем пройти во Францию, но, не быв пропущенным через границу, он направился в Крым и Закавказье».

Этот обратный путь из Бессарабии в Закавказье — огромный путь в несколько тысяч верст — Горький шел большей частью берегами Черного моря.

Он странствовал долго — около двух лет. Шел от села к селу, от аула к аулу, и в жизнь его вступили новые, незнакомые страны: Молдавия и Крым, Кубань и Грузия.

Горький видел море, порты, корабли, табуны коней, костры в степях, далекие горы, цыганские таборы, татар-пастухов, скимников, контрабандистов, рыбаков, нищих, странников.

В степи его застигали грозы, молнии слепили ему глаза. В Керченском проливе он чуть не потонул. На Военно-грузинской дороге его захватила снежная вьюга.

И почти всегда, изо дня в день этого длинного путешествия, преследовал его голод.

Он шел по богатой земле, но в котомке у него часто не было ни кусочка; это казалось обидным и, главное, мешало думать.

Хорошо было в Абхазии — здесь Горький питался пьяным медом.

Мед этот собирают пчелы с цвета лавра и азалии. Горький выбирал его из дупел и наполнял свой котелок...

Но в плохие дни приходилось браться за любую работу. Он батрачил в черкесских аулах на Кавказе и у еврейских колонистов на Украине. Служил кашеваром. Работал на соляной добыче и на постройке шоссе. На рыбацких заводах помогал тянуть невод, за это получал ужин.

Однажды пришлось согласиться читать молитвы по покойнику — никакой другой работы в степном селе не нашлось. И он всю ночь читал молитвы, а на утро, взяв кусок хлеба и отказавшись от денег, пошел дальше...

Зачем он шел? Об этом он часто думал и сам.

Чудесно было следить взором медленный путь турецкой фелюги в море, прислушиваться, как шуршат в степи мыши, видеть, как в пене горной реки кружатся листья, узнавать стук дятла на грабе...

Но еще чудеснее, еще важнее было ходить по всем дорогам, чтобы встречать людей и стараться их понять.

До ухода своего из Нижнего Горький прочитал Помяловского — писателя, которого он особенно полюбил.

Помяловский писал, что надо изучать всех участников жизни: лавочников, нищих, пожарных, бродяг...

Горький пристально наблюдал всех этих людей — изучал народ, о котором так много говорили и который так мало знали иные из интеллигенов — наставников Горького...

Но часто из наблюдателя он превращался в участника событий, особенно, если события эти вызывали в нем боль, гнев, возмущение.

Нередко во время своих странствий он круто менял маршрут, шел проселочными дорогами и большаками лишние сотни верст для того только, чтобы увидеть самому то, чем жил в те годы народ.

В станицах Кубани он услышал, что в Майкопе произошел «чумный бунт»: народ возмутился бессмысленными мерами царских чиновников против чумы рогатого скота и избил казенных ветеринаров.

Власти вызвали войска. Казачий отряд расстрелял толпу крестьян. Многие были убиты.

Горький поспешил в Майкоп.

Он застал там плачущих вдов, напуганных жителей и нагло раз'езжавших по улицам казаков.

Странного незнакомца сейчас же заметили. Горького арестовали и посадили в казарму: в городской тюрьме места для арестованных уже не было.

На допросе усатый жандармский полковник добивался ответа на вопрос, почему Горький оказался в Майкопе в такие тревожные дни.

— Хочу знать Россию,— кратко ответил Горький.

Полковник гневно выругался:

— Это не Россия, а свинство!

Все было подозрительным в арестованном мещанине Пешкове: бродил он по Рос-

сии без определенных занятий, в котомке у него обнаружили пару книг и даже тетрадь со стихами, на допросе отвечал дерзко, глядя в глаза начальству.

Но никаких прямых улик против арестованного не было. Продержали его в казарме несколько дней и выпустили.

Первый рассказ

Долгий свой путь Горький закончил на Кавказе, в Тифлисе.

И здесь ему пришлось нелегко: все та же знакомая нужда, жизнь в подвале, столкновения с полицией, тяжелый труд... Но все же это было хорошее время, может быть, лучшее время в жизни молодого Горького.

В Тифлисе Горький нашел новых людей и новую дружбу.

Он поступил на работу в железнодорожные мастерские и быстро сблизился с революционно настроенными рабочими и студентами. В них Горький чувствовал не высокомерных наставников, а простых и хороших товарищей.

В Тифлисе он встретил человека, который угадал подлинное призвание Горького.

Это был Александр Мефодьевич Калюжный.

Участник революционной организации «Народная воля», отбывший шесть лет царской каторги, Калюжный принадлежал к числу людей, обладающих, может быть, самым редким талантом — человеческим талантом.

Он умел привлекать к себе людей, умел слушать их и понимать, умел находить в людях лучшее и заставить их самих полюбить это лучшее...

При первых встречах Горький рассказывал о Бессарабии и Волге, о путевых приключениях, о себе самом. Калюжный молча глядел на собеседника. В нем Калюжный видел не только парня со странной судьбой, бесцельного бродягу, силача, забавника с невеселым лицом.

В рассказах Горького Калюжный уловил большой дар и большое сердце.

Случайное знакомство превратилось в глубокую, настоящую человеческую дружбу.

Горький и Калюжный в Тифлисе.

Будущее Горького Калюжный видел в литературе.

— Пишите обо всем этом,— настойчиво повторял он, увлеченный рассказами своего друга.

Вспоминая как-то о своих скитаниях по Бессарабии, Горький рассказал легенду о Радде и Лойко Зобаре, которую он слышал в цыганском таборе от старого табунщика Макара Чудры.

Калюжный запер Горького одного в комнату и освободил его только тогда, когда рассказ о встрече с Макаром Чудрой был готов.

Калюжный отнес рассказ в редакцию «Кавказа», большой тифлисской газеты.

Рассказ понравился. В рукописи не хватало только одного — подписи. Автор придумал ее, сидя в редакции:

— Горький, Максим Горький...

И в сентябре 1892 года появился «Макар Чудра», первый рассказ Горького.

Поздней осенью Горький двинулся обратно на родину — в Нижний.

Из Тифлиса он увозил с собой память на всю жизнь о Калюжном — человеке, который первый открыл в Горьком писателя.

Иегудиил Хламида

Он поселился в старой бане, в саду пьяненького попа. Наступила зима, в бане стоял жестокий холод, а когда топилась печь, все жилье наполнялось нестерпимым запахом веников и мыла.

Горький служил письмоводителем у известного нижегородского адвоката и общественного деятеля Ланина. Он переписывал прошения и апелляционные жалобы, ходил по делам Ланина в суд, а по ночам, сидя в предбаннике — здесь Горький устроил свой кабинет,— читал романы Бальзака и труды философов, мечтал о далеком путешествии — в Индию, на Цейлон, но чаще всего сочинял рассказы.

Свои рассказы он послал в Казань, в газету «Волжский вестник».

Оттуда Горький получил гонорар—около тридцати рублей. Сумма эта показалась ему огромной.

На рассказы Горького обратил внимание Короленко. Он захотел увидеть начинающего писателя, подписывавшегося этим, звучавшим непривычно псевдонимом — Максим Горький.

Горький явился в деревянный дом на краю города. И в Максиме Горьком Короленко узнал того неведомого молодого человека, который несколько лет назад принес ему поэму о старом дубе...

Короленко похвалил рассказы Горького:

— Пишете вы очень своеобразно. Не слажено все у вас, шероховато, но любопытно.

— Так вы думаете, я могу писать? — спросил Горький.

— Конечно! — воскликнул Короленко, несколько удивленный.—Вы уже пишете, печатаетесь, чего же? Заходите посоветоваться — несите рукописи...

Короленко предложил Горькому постоянную работу в самарской газете. Горький принял это предложение. Скучная возня с судебными бумагами и гербовыми марками, война с мокрицами в тесной бане, борьба за двугривенные и полтинники — все это внезапно оказалось позади.

В Самаре окончательно определилась жизненная судьба Горького. Он превратился в писателя-профессионала.

Кроме Короленко в «Самарской газете» печатались такие известные писатели, как автор «Аленушкиных сказок» Мамин-Сибиряк и автор «Детства Темы» Гарин-Михайловский. И вот рядом с ними появился Горький.

Горький вспоминал о недавнем прошлом: о годах, заполненных тяжелым трудом, приключениями, скитаниями, удивительными встречами,— и эти пестрые, богатые, неистощимые воспоминания были тем материалом, из которого он строил свои вещи: «Вывод», «Дело с застежками», «Однажды осенью»...

В газете Горький помещал также и фельетоны на местные, самарские темы. Писал о конке и городском саде, уличных хулиганах и летнем театре, больнице и городской управе. Фельетоны были изобличительные и мрачные. Подписывал их Горький странным именем — Иегудиил Хламида.

— Фельетонист вы слабый,— с обидной откровенностью сказал ему при первом знакомстве Гарин-Михайловский. — Юмор есть, но грубоватый, и владеете вы им неумело.

Горький сам сознался, что Иегудиил Хламида пишет плохо, и называл свою работу фельетониста «окаянной».

Горький жил в Самаре уединенно, в маленьком доме над Волгой. Он знал, что ему надо много еще работать. И Горький работал, как только может работать человек, который после долгих колебаний почувствовал наконец, что призвание у него одно.

Слава

Через год Горький был уже известен. Все приволжские газеты старались привлечь молодого писателя. Пригласил к себе Горького и «Нижегородский листок».

Горький вернулся снова в Нижний.

В эту пору Горкий заболел. Голодная, нищая юность, бездомная жизнь, тяжкий физический труд, пущенная из тульского револьвера пуля, наконец, напряженная писательская работа — все это не прошло бесследно. Горький боролся с «маленькой чахоткой», как называл он свою болезнь, и продолжал писать.

Но здоровье все ухудшалось. Многим казалось, что Горькому уже не выздороветь. Врачи послали его на юг. Он жил в Крыму и потом на Украине — в тихом селе Мануиловке.

В Мануиловке ему было хорошо: большой парк, семейство сычей на старой липе, полная огромных щук река, ночной бой на колокольне — все нравилось здесь Горькому.

Крым и Мануиловка спасли Горького. Он вернулся в Нижний — к жизни, к работе. Свои рассказы и повести Горький собрал в отдельные две книжки. С трудом он нашел издателей, решившихся на рискованный шаг — выпустить книги писателя, который до сих пор печатался только в провинциальных газетах.

И вот вышли эти два скромных томика — и внезапно вся читательская Россия заговорила о новом, замечательном таланте.

Тяжелую и беспощадную правду о русской жизни раскрывали горьковские рассказы. Горький ничего не утаивал. Но эту правду говорил не слабый, усталый, отчаявшийся писатель: неистребимая вера в человека пропитывала каждую строку Горького. Читатель ощущал нечто сильное и бодрое в рассказах неизвестного дотоле писателя.

Новое писательское имя оказалось рядом с именами двух великих современников — Льва Толстого и Антона Чехова.

Метехский замок и Нижегородский острог

Двуглавый орел самодержавия был не только гербом государства, но птичкой весьма живой и злобно деятельной.
(Горький «Беседы о ремесле»).

Известность Горького росла — и это все более тревожило царское правительство.

В молодом писателе правительство угадывало своего непримиримого врага. Между правительством и писателем завязалась открытая борьба: она длилась долгих двадцать лет...

В Тифлисе арестовали рабочего-революционера Афанасьева. При обыске у него нашли фотографическую карточку с автографом: «Дорогому Феде Афанасьеву на память о Максимыче».

Жандармам удалось выяснить, кто такой Максимыч.

Горький был схвачен в Нижнем и отправлен в Тифлис. Здесь его посадили в Метехский замок — тюрьму для политических заключенных.

Он шагал по камере и пытался догадаться, за что посадили его в эту тюрьму. Из окна камеры видны были серые зубцы тюремных стен и коричневая вода реки Куры, дома с деревянными галереями на берегу.

По коридору расхаживал надзиратель и звенел ключами. Рассердившись на что-нибудь, он кричал:

— Сиди десять лет!

Может быть, желание надзирателя исполнилось бы — и Горькому пришлось бы долго сидеть в Метехском замке. Но доказать причастие Горького к делу Афанасьева жандармам не удалось.

Горький вернулся в Нижний. Теперь он уже находился под неотступным надзором полиции. Деревянный двухэтажный дом, где поселился писатель, всегда окружали странные личности. Одни из них, сидя на тумбе, делали вид, что наблюдают небо. Другие, прислонившись к фонарю, притворялись увлеченными чтением газеты. У под'езда стоял извозчик — тоже странный: он соглашался возить только Горького и его гостей, хотя бы бесплатно, но только их. И наблюдатели неба, и читатели газет, и извозчик были переодетыми сыщиками. Они пытались выследить каждый шаг писателя и его друзей.

Это было нелегко, ибо к Горькому всегда приходило множество людей.

Все живое и интересное тянулось к Горькому. К нему приходили актеры, мастеровые, художники, иностранные путешественники, курсистки, купцы.

Все пристальнее следила полиция за Горьким. Он все чаще посещал Сормово — рабочее предместье Нижнего, где находились большие заводы.

На секретных собраниях здесь читали социал-демократическую газету «Искра», в которой писал Ленин. Газета печаталась на тонкой, рисовой бумаге: в случае внезапного налета полиции весь номер можно было проглотить...

И сормовские рабочие посещали Горького: к нему шли за советом, книжкой и деньгами, которые Горький щедро давал на революционную работу.

В 1901 году Горький поехал в Петербург. Он был там свидетелем беспощадной расправы полиции с участниками революционной демонстрации студентов. Горький

Горький и Чехов в Ялте в 1901 году.

выступил со статьей, в которой смело нападал на правительство—виновника этой расправы. А в своем «Буревестнике», написанном под впечатлением этих событий, Горький воскликнул:

«Буря! Скоро грянет буря!»

Строки этой песни повторяла наизусть вся страна.

Уезжая из Петербурга, Горький тайно отправил нижегородским друзьям мимеограф — аппарат, заменявший революционерам печатный станок.

О мимеографе каким-то образом узнала охранка.

Горький очутился в нижегородской тюрьме, в башне № 4.

Ему пред'явили обвинение в бунте против верховной власти. Содержали Горького как опасного преступника, вся переписка с ним перехватывалась.

Арест и заключение Горького вызвали сильнейшее возбуждение. По всей России прокатилась волна протестов. На защиту брошенного в тюрьму больного писателя выступил Лев Толстой.

Правительству пришлось уступить. Тюрьма была заменена Горькому домашним арестом. Теперь у него в прихожей и на кухне сидели полицейские.

Один из них непрестанно заглядывал в кабинет и заводил с Алексеем Максимовичем ученые разговоры.

Горький снова принялся за работу, часто писал по ночам. Это возбуждало величайшую подозрительность полицейских.

— По ночам они и действуют,— сообщали они.

Однажды Горький встретил на улице купца Бугрова — миллионера, одного из хозяев города.

— Это зря! — сказал он Горькому. — Ваше дело рассказывать, а не развязывать... Революция — развязка всех узлов...

Бугров не ошибался. Горький не только рассказывал, но и «развязывал». Все теснее сближался он с революционерами, оказывал все большую поддержку сормовским рабочим.

Полицейские и сыщики оказывались бессильными...

«Влияние его среди рабочих вообще может выражаться в форме весьма нежелательной»,— доносили в Петербург нижегородские жандармы.

Правительство решило удалить Горького из Нижнего, подальше от революционного Сормова. Местом жительства ему назначили Арзамас — глухой городок, засе-

Горький и Толстой в Ясной Поляне в 1900 году.

ленный попами, мещанами и отставными чиновниками.

Насилие над Горьким вызвало гневное выступление Ленина. Он писал:

«Европейски знаменитого писателя, все оружие которого состояло в свободном слове, самодержавное правительство высылает без суда и следствия».

Сидение в нижегородском остроге обострило болезнь Горького. Врачи нашли его положение снова очень опасным. Горькому нужен был опять юг, и под давлением многочисленных друзей Горького, в том числе и Льва Толстого, власти разрешили писателю на несколько месяцев выезд в Крым.

Проводы Горького в Крым превратились в бурную революционную демонстрацию. Задолго до отхода поезда, с которым отправлялся Горький, вокзал был переполнен студентами и рабочими.

С пением революционных песен сопровождала толпа своего любимого писателя до вагона.

Охранники поспешили поскорее отправить поезд. Два жандарма стали у входа в вагон.

Поезд тронулся под крики:

«Да здравствует Максим Горький! Долой насилие!»

То была первая политическая демонстрация в Нижнем Новгороде.

Соловьи и шпионы

Арзамасский парикмахер называл себя «градским брадобреем». Об Арзамасе он говорил так:

— В иных местах наводнения бывают, землетрясения, у нас — ничего! Холеры — и той не было...

Когда-то Арзамас бунтовал. Арзамасские люди убегали из-под царской власти к Степану Разину и Емельяну Пугачеву.

Беспокойные эти казаки, мордва, чуваши давно уже сгнили в могилах, давно заросло травой древнее арзамасское кладбище. Арзамас превратился в город купцов и монашек, казался тихим, надежным, истовым. Он торговал заячьими шкурками и салом, бил в колокола пяти монастырей и тридцати шести церквей, слушал крик лягушек, читал «Епархиальные ведомости», боялся воров, на ночь плотно закрывал ставни своих домиков.

В Арзамасе Горький поселился в про-

сторном деревянном доме. При доме был сад, где росла старая липа.

Полиция взяла дом под строжайшее наблюдение. Вот что сообщал Горький в письме к Чехову:

«Тихо здесь, спокойно, воздух хороший, множество садов, в садах поют соловьи и прячутся под кустами шпионы. Соловьи во всех садах, а шпионы, кажется, только в моем. Сидят во тьме ночной под окнами и стараются усмотреть, как я крамолу пущаю по России,— а не видя сего—покряхтывают и пугают домашних моих».

Каждый шаг Горького вызывал величайшее подозрение. Если Горький давал нищему серебряную монету, полицейский отбирал ее у нищего и пробовал на зуб: не фальшивые ли деньги раздает поднадзорный Пешков?

Иногда Горький подходил к окну и подзывал одного из шпионов. Происходил такой разговор:

— Шпион?

— Нет!

— Врешь, шпион?

— Ей богу нет!

— А давно служишь по этой части?

— Нет, недавно...

Появлялось изредка у дома Горького и важное арзамасское начальство — пристав Данилов. Толстый, с большой трубкой в зубах, он под'езжал верхом на коне и зорко всматривался в нутро дома. Видимо, был твердо убежден, что если Горький делает в России революцию, то он, пристав Данилов, сразу это заметит и пресечет.

Пристав Данилов ошибался.

В пору жизни в Арзамасе Горький принял участие в осуществлении смелого революционного предприятия.

Близ Арзамаса находился Понетаевский монастырь — одно из гнезд контрреволюции. Рядом, в монастыре, была казенная винная лавка. Нижегородские революционеры вместе с Горьким решили «овладеть» лавкой. В самом деле, кто вздумает искать революционеров в казенной винной лавке, в глухом уездном углу, да еще рядом с монастырем?

План был осуществлен: сидельцем лавки удалось устроить столяра Лебедева — активного нижегородского революционера. Столяр отпускал в лавке водку обитателям монастыря и стекавшемуся на богомолье люду, а в комнате позади лавки находилась тайная типография революционеров. Напечатанные в казенной лавке прокламации распространялись по всей губернии.

Едва ли властям скоро удалось бы раскрыть тайну казенной лавки в Понетаевке. Но произошла случайность: лавку обокрали громилы. Об этом стало известно полиции. Каждую минуту можно было ждать прибытия на место происшествия властей. К счастью, когда полиция явилась в лавку для производства следствия, она не нашла там ни типографии, ни сидельца. Типография была спасена, тайна Понетаевки не раскрыта.

Приставу Данилову доносили, что в окне кабинета Горького свет горит всю ночь. Это не нравилось приставу:

— Поднадзорный мало спит, по ночам в квартире работает.

Горький писал много, и работа увлекала его.

Он писал пьесу для Художественного театра «На дне».

Первый спектакль «На дне» превратился в бурное чествование Горького. Без конца вызывала публика автора. Он выходил на сцену с растерянной улыбкой, забыв от смущения вынуть папиросу изо рта...

Нечто более значительное чем театральный успех ощущалось в этом чествовании.

Три революции

— Всегда надо стрелять, всегда стреляйте, генерал!

(Николай II в разговоре с генералом Казбеком, комендантом Владивостока).

Буря, которую предвещал «Буревестник, наконец, разразилась. Наступил 1905 год.

Революционные события вспыхнули в первые же дни этого года. 9 января Гапон — поп, служивший в царской охранке,— повел толпы петербургских рабочих к Зимнему дворцу.

К царю шло двести тысяч человек — шел отчаявшийся и обманутый народ, веривший еще, что в Зимнем дворце можно найти защиту от притеснителей.

О предстоявшем шествии правительство знало заранее, знал об этом и царь. Войска были приведены в боевую готовность. Родственник царя, великий князь Владимир, говорил во дворце, что только кровь народа может спасти династию. Ему было поручено командование войсками.

В этот день Горький был на улице, среди толп рабочих. Он слышал, как гнусаво пропела труба горниста и как по этому сигналу начались расстрелы.

То был день ужаса, «жгучего, как промерзшее железо».

Домой Горький вернулся потрясенный и тотчас написал воззвание «Ко всем русским гражданам и общественному мнению европейских государств». То, что произошло на улицах Петербурга, он называл предумышленным убийством и смело называл имя главного палача — имя царя.

Горький призывал к открытой борьбе за свержение самодержавия.

Воззвание попало в руки полиции.

Охранникам уже был хорошо знаком почерк писателя-революционера. Через два дня после 9 января Горького арестовали. Он очутился в Петропавловской крепости — тюрьме, куда правительство бросало важнейших политических преступников.

После долгих ходатайств Горькому выдали «принадлежности для литературных занятий». Он принялся в каземате за работу над пьесой «Дети солнца».

В пьесу он внес комические сценки. И когда писал их,— громко смеялся. Стражники слышали смех заключенного и в тревожном недоумении вызывали коменданта крепости... На защиту писателя поднялась вся Европа.

— Арестом вашим Европа обеспокоена,— сказал Горькому на допросе в крепости жандармский офицер—старый знакомый: семь лет назад этот же офицер допрашивал Горького в Метехском замке...

И снова — уже в третий раз — правительству пришлось уступить. Горький был выпущен.

Вероятно, он недолго выдержал бы сидение в тюрьме, где камень словно с'едал людей. После месячного заключения Горький вновь харкал кровью.

День, названный народом «Кровавым воскресеньем», не был забыт. Рабочие готовились к вооруженной борьбе, к восстанию.

Надвигались решающие дни революции 1905 года.

В это время Горький жил в Москве. Он собирал деньги на оружие, его квартира напротив манежа превратилась в боевой латерь. Сюда сносили ружья, револьверы, гранаты, и здесь их раздавали участникам боевых дружин. Благонамеренные жильцы дома с ужасом прислушивались к отглушительным выстрелам, которые неслись из квартиры Горького: охранявшая писателя дружина студентов-кавказцев устраивала в комнатах учебную стрельбу.

Горький видел, как рабочие строили баррикады, как неслись по Москве серые отряды солдат и осыпали свинцом улицы, как пушки били по Пресне.

Восстание было подавлено. Но не была подавлена революция.

По всей России ходили переписанные на машинке листки — письмо Горького к рабочим.

В 1905 году, накануне восстания в Москве, Горький познакомился с Лениным.

Правда, с которой обращался Горький к русскому народу, была той правдой, которую говорил о революции и Ленин.

Друзья предупредили Горького о предстоящем аресте. Он уехал заграницу — Германию и Францию, а оттуда—в Америку.

В Америке, в окруженном зеленью деревянном домике в Адирондакских горах, Горький приступает к работе над романом «Мать».

В романе оживала борьба нижегородских революционеров на пороге 1905 года.

Своих героев Горький взял из среды рабочих Сормова.

Образы Павла Власова и его матери Ниловны были навеяны Горькому людьми, которые существовали в действительности и которых он хорошо знал. Это был революционер — рабочий Петр Заломов, осужденный царским судом за участие в первомайской демонстрации сормовских рабочих. Мать его работала в революционной организации, переодетая странницей, она развозила по краю революционную литературу.

Царское правительство уловило громадное революционное значение романа. Журнал, в котором была напечатана первая часть «Матери», был конфискован, вторую часть романа цензоры искромсали до неузнаваемости. Из произведения выбрасывались целые главы.

Самого Горького правительство решило предать суду.

В «Ведомостях петербургского градоначальства» появилось об'явление, что «по обвинению Санкт-Петербургского окружного суда отыскивается нижегородский цеховой малярного цеха мастер Алексей Максимович Пешков».

К счастью, Горький был далеко.

После революционных выступлений заграницей он не мог вернуться в Россию и поселился в Италии, на острове Капри.

В эти годы он сблизился с Лениным. Это произошло в 1907 году на V с'езде российской социал-демократической партии в Лондоне, куда Горького пригласили вожди большевиков.

Каждый день старинная закрытая карета, похожая на те экипажи, в которых ездили герои Диккенса, везла Горького на окраину Лондона, к зданию деревянной церкви, со стрельчатыми окнами, где происходил с'езд: другого, более подходящего помещения снять не удалось.

Прислонившись к колонне, Горький часами присматривался к участникам с'езда и прислушивался к страстным спорам между меньшевиками и большевиками.

С этих дней началась личная дружба между Горьким и Лениным.

Владимир Ильич приезжал к Горькому на Капри. Здесь, отдыхая от напряженной своей работы, Ленин играл в шахматы, удил рыбу, ходил по каменным тропам, любовался золотыми цветами дрока... По вечерам Горький вспоминал о своих странствиях по России и Ленин жадно слушал эти удивительные рассказы.

Рыбаки Капри полюбили гостя Горького. Когда Ленин уехал, они все спрашивали Горького:

— Царь не схватит его, нет?

В письмах Ленина к Горькому сквозило глубоко дружеское участие: забота об его писательском труде и тревога о здоровье этого больного туберкулезом человека.

Ленин назвал Горького крупнейшим представителем пролетарского искусства.

«Нет сомнения,— писал Ленин,— что Горький—громадный художественный талант, который принес, и принесет много пользы всемирному пролетарскому движению».

Когда в 1913 году царское правительство об'явило политическую амнистию, Ленин посоветовал Горькому вернуться в Россию.

Горький покинул Капри и переехал в Петербург.

Через год началась мировая война.

В одном из своих публичных выступлений Горький сказал:

— Мы присутствуем на празднике какой-то чудовищной свиньи, которая взбесилась и тупым рылом уничтожает весь мир.

А в статьях Горький смело указывал, что империалистическая война, которая истребляет миллионы людей и уничтожает их труды,— война эта начата глупостью и еще более — жадностью.

Созданный Горьким журнал «Летопись» выступил против империалистической бойни.

Зима 1916—1917 года казалась долгой, бесконечной. В редакции «Летописи» говорили о волнениях на заводах и поражениях царской армии на фронте.

На одном редакционном собрании Горький сказал:

— Мы приближаемся к развязке.

Через неделю метавшийся между Петербургом и ставкой синий царский поезд был задержан на станции Дно — и Николай II подписал акт об отречении. Был февраль 1917 года.

«В моей памяти,— вспоминает один из друзей Горького, В. Десницкий,— одна из первых после 1917 года встреч Горького с Лениным. Это было вскоре после покушения эсерки Каплан на жизнь Ленина. Владимир Ильич был оживлен, радостно потирая руки, улыбаясь Горькому, торопил его:

— Ну, ну! Рассказывайте, говорите, что вас огорчает...

Зашел посмотреть на «земляков» Яков Свердлов[1] — Владимир Ильич спокойно рассказывал о покушении, с полным знанием дела излагал историю болезни, как прошла операция.

— На войне, как на войне! Еще не скоро она кончится.

Настойчиво угощал нас:

— Ешьте сыр: хлеб свежий, мягкий. Вишни ешьте, только что куплены, вымыты...

Угощение было весьма скромное. Гостеприимный хозяин не знал, что у него не было чаю, и я потихоньку сходил в канцелярию, где у одной из служащих, старой моей приятельницы, нижегородки, добыл чаю на заварку для председателя Совета народных комиссаров.

Горький сумрачно расспрашивал Владимира Ильича о здоровье, не отзовется ли на его работоспособности рана. Владимир Ильич осторожно, но свободно под-

[1] Я. Свердлов, так же как и М. Горький и автор воспоминаний В. Десницкий, жил в дореволюционные годы в Нижнем Новгороде.

Горький на Капри. *Редкий снимок.*

нимал вверх руку, вытягивал ее, сгибал и выпрямлял. Горький бережно ощупывал шею, мускулы руки, Владимир Ильич стоял прямо и строго смотрел на Алексея Максимовича. Казалось, что жесты Горького говорили о чем-то большем, чем о простом желании убедиться в физической мощи друга. Горький как будто хотел еще и еще раз окончательно уверить себя в том, что именно в Ленине сконцентрирована сила и воля миллионов, что из него лучится яркий свет на завтрашний день...

И он убедился».

Ленин не оставлял своих забот о Горьком. Когда в 1921 году у Горького вновь обострилась давняя его болезнь, Ленин настоял на его от'езде заграницу для лечения.

Горький поселился снова в Италии — в Сорренто.

Внимательно следил он за всем, что происходило в Советской стране, все крепче и многочисленнее становились нити, которые связывали писателя с его родиной.

И когда Горький вернулся в СССР, страна встретила его как своего великого художника-революционера.

В 1932 году Советский союз праздновал сорокалетие литературной деятельности Горького.

«Имя Максима Горького,— говорилось в приветствии ЦК ВКП(б),— дорого и близко трудящимся Советской страны и далеко за ее пределами как имя величайшего художника-революционера, борца против царизма, против капитализма, за международную пролетарскую революцию, за освобождение трудящихся всех стран от ига капитализма».

Празднование юбилея Горького превратилось в подлинное всенародное торжество. И когда на собрании в Большом театре от имени партии выступил тов. Стецкий, он сказал:

«...Владимир Ильич первый заявил, что Горький является величайшим авторитетом в области пролетарского искусства.

Ленина нет. Нет Ленина, которому А. М. Горький посвятил свои прекрасные страницы. Но жива наша партия, живо дело Ленина, люди, которых он выпестовал. И не удивительно, что теперь имя великого пролетарского писателя А. М. Горького сплетается с именем товарища Сталина, вождя пролетарской революции, в котором олицетворяется все лучшее, что есть у нас в партии!»

Писатель и борец

Четырех лет Горький болел холерой, восьми — оспой. Работая мальчиком в магазине обуви, жестоко обварил себя щами. Его избивали дома и в людях так, что однажды пришлось везти в больницу и доктор вынул из его тела 42 щепочки.

били его в тот раз пучком сосновой лучины. Охотник в лесу всадил в него заряд дроби. В украинском селе Кандыбовке толпа чуть его не убила. Едва спасся он от напавших на него кулаков в приволжском селе Красновидове. Работая на барже, он упал в трюм и тяжело разбился.

Смертельные болезни, озверелые люди и несчастные случаи заполняют биографию молодого Горького.

Но судьба многих русских писателей простого звания, писателей-разночинцев, была немногим легче судьбы Горького, и об этом напомнил сам Горький в одной из своих статей. Помяловского за время учения в семинарии высекли 400 раз. Левитова выпороли публично, перед всем классом,— как он выразился, «выпороли душу из тела». Решетников 14-летним мальчиком попал под суд и два года сидел в тюрьме. Писатели эти, давшие русской литературе такие вещи, как «Очерки бурсы», «Мещанское счастье», «Подлиповцы», испытали нищее существование и глухую безвестность.

Едва достигнув полной зрелости, они умирали в своих трущобных жилищах или на койке больницы для бедняков.

Они оставляли по себе только рукописи, и эти рукописи подчас напоминали пространные записки самоубийц: столько было в них тоски и отчаяния.

Судьбе Горького было еще труднее. Она словно соединила в себе все испытания, выпадавшие на долю этих писателей.

Его истязали, как Помяловского, унижали публично, как Левитова. Он работал грузчиком на Волге, как Кушевский на Неве. Правда, впервые в тюрьму он попал уже взрослым человеком, но еще 16-летним подростком Горький превращается в «арестантика» из булочной Семенова, а это было, может быть, страшнее тюрьмы.

Он рано ощутил всю тяжесть своей жизни и ужас существования тех, кто его окружал.

Мальчиком он любил вместе с другими детьми спускаться в овраг, и здесь, на дне, усевшись на большом бревне, они пели песни. Руководил хором Горький, и песни он выбирал всегда грустные. К краю оврага собирались люди и долго слушали, как поют дети. Печальные их песни нравились.

И вот этот мальчик, которому суждено было пройти трудный и мучительный путь, став потом писателем, принес в литературу радостный призыв к лучшей жизни.

Откуда почерпнул Горький эту удивительную бодрость?

Много бодрости получил он в дар от отца — столяра и обойщика Максима Савватьевича. Ее укрепляла в мальчике Акулина Ивановна, чудесная горьковская бабушка. Позже Алеша Пешков, обитатель нижегородских чердаков и подвалов, нашел ее в книгах, полных приключений, невиданных людей и незнакомых городов.

Но могло ли хватить этой бодрости надолго?

Одна из героинь Горького, старуха Изергиль, говорит:

«Когда человек любит подвиги, он всегда сумеет их сделать и найдет, где это можно. В жизни, знаешь ли, всегда есть место подвигам».

Подвигом, который совершил Горький, была самая жизнь, им прожитая. Он шел ей навстречу, словно спешил узнать все тяготы и страдания, которые ждали нищего скитальца и человека разной черной работы — Алексея Пешкова.

Вся молодость Горького была заполнена жадным исканием жизни и людей, и всякое знание о них он, точно руду, добывал глубоко из земли.

Как будто предвидя, что люди, с которыми случалось Горькому сталкиваться на долгих и путаных дорогах, когда-нибудь превратятся в героев его рассказов, повестей и драм, он не только наблюдал их, он выслеживал их, шел за ними по пятам как неутомимый охотник.

Он принес в литературу не только знание людей, которых старые писатели никогда еще не избирали своими героями, но и знание страны, забытых литераторами народов, рек, песен и дорог.

В одном рассказе устами своего героя он заметил: «Про Россию, брат, нельзя говорить, что хочешь от своего ума. Каждая губерния — своя душа».

Сам Горький описывал молдавское «Дикое поле» и леса Керженца, украинские большаки и кубанские станицы, и мимо всех бесчисленных пейзажей, которые развертываются перед читателем, Горький прошел сам — с котомкой за плечом, с палкой в руках.

Не сразу научился Горький распоряжаться своими знаниями.

Слава пришла к нему рано, но все же

путь Горького к своему искусству был долгий.

Он начал чуть ли не с десяти лет вести дневник, и это была первая его книга, которую он писал для одного лишь читателя — для самого себя.

Позже, в казанскую пору своей молодости, писал стихи. Выходили они у Горького плохо, а когда он решился взяться за прозу, продолжал писать какими-то полустихами, поющими фразами.

«...Вообще я,— вспоминает Горький,— старался писать «красиво»...

«Море смеялось»,— писал я и долго верил, что это — хорошо. В погоне за красотой я постоянно грешил против точности описаний, неправильно ставил вещи, неверно освещал людей».

Два писателя, мнением которых Горький дорожил более всего — Толстой и Чехов,— говорили об этом молодому литератору.

— Печь стоит у вас не так,— сказал Толстой Горькому по поводу рассказа «Двадцать шесть и одна». Оказалось, что огонь печи не мог освещать рабочих так, как было написано у Горького.

А Чехов об одной их горьковских героинь заметил:

— У нее, батенька, три уха — одно на подбородке, смотрите!

Это были, конечно, мелочи, но происходили они от недостаточного еще уменья писать точно и просто, строго отбирая каждое слово. Горький все более понимал, как трудна и как необходима художнику эта точность и простота.

Этому искусству, очень трудному искусству — писать просто Горький учился долго и неутомимо. Многому учился у других писателей и многому у народа, этого творца языка. Внимательно перечитывал он классиков Толстого, Флобера, Чехова, Диккенса, Лескова, но неустанно прислушивался и к речи людей, среди которых жил: мастеровых, купцов, солдат, бурлаков, актеров, булочников, певчих, матросов...

И достиг, наконец, той высокой ступени искусства, когда красота неотделима от простоты и правды, когда красота и есть эта простота и правда.

Он научился описывать человеческие лица, реки, дома, небо, лес такими точными и запоминающимися словами, словно они были не напечатаны на бумаге, а вырезаны на камне.

Еще в далекой молодости, не твердый еще в правописании, он имел уже твердое мнение о назначении литературы.

В казанские годы он попал однажды на лекцию о Шекспире.

Лектор, звонкий, как колокольчик, заявил:

— Литература существует для отдыха души.

Пекарь Горький с ним не согласился. Он занес эту фразу лектора в дневник, сопроводил кратким замечанием:

«Врет».

Он знал, что литература имеет более высокое назначение и назначение это — не успокаивать, а беспокоить душу.

Потом, став писателем, он устами одного из своих героев сказал:

«Надо ежа пустить под череп человеку, чтобы он никогда не успокаивался».

Слово Горького было колючим, беспокойным словом, и оно ежом забиралось глубоко в сознание читателя.

В те дореволюционные годы, когда молодой писатель Горький жил в Нижнем, к нему в дом заходил высокий человек в длинном английском пальто и кепке огненнокрасного цвета, приводившей в восторг уличных мальчишек. Дежурившие у горьковского дома сыщики знали, что вскоре на улице соберется толпа прохожих — слушать пение знаменитого баса Шаляпина.

С ним Горький подружился еще в Казани. Оба они, пекарь Горький и сапожник Шаляпин, явились однажды в театр наниматься в хористы. Горького приняли, а Шаляпин был признан безголосым...

И пекарь и сапожник достигли мировой славы, но пути их разошлись.

Еще в 1902 году на чествовании Шаляпина Горький произнес речь — прямую и резкую.

— Вы гений,— сказал он Шаляпину,— но ваши песни теряются в золоченых амфиладах замоскворецких купчих. Будите восторг в душе несчастных, забитых. Тогда вы будете воистину великим.

Шаляпин не последовал этому совету: и когда революция ворвалась в золоченые амфилады, покинул страну и изменил народу, из которого вышел.

Горький свои песни обращал к народу. И когда этот народ произвел величайшую в мире революцию и приступил к созданию новой жизни, Горький отдал ему не только свои песни, но и всю энергию бойца, инициативу строителя и зна-

Ленин и Горький
На II конгрессе Коминтерна 1920 г.

ния одного из образованнейших людей нашего времени.

Биография Горького последнего десятилетия — это не только биография писателя, но и выдающегося советского деятеля, руководителя литературной жизни СССР, борца за культуру, революционера, стоящего в ряду тех лучших людей мира, которые своим творческим гением служат делу освобождения всего человечества.

Жизнь и борьба революционера обращена к будущему. Потому так свойственна многим из них любовь к детям. Через всю жизнь Горького проходит эта любовь.

Лучше всего об этом говорят удивительные письма Горького детям.

Пересказывать их невозможно. Вот одно из них, написанное им учащимся иркутской школы имени Максима Горького:

«*Был у меня тов. Басов, рассказывал о том, какие хорошие школы строятся у вас, на востоке Сибири, рассказывал, как вы учитесь и как много среди вас даровитых человечков.*

Особенно приятно знать, что учитесь вы усердно, с любовью. Так и надобно, ребята, науку надо любить — у людей, нет силы более мощной и победоносной, чем наука. Великими мучениями заплатил трудовой народ земли за свою безграмотность и малограмотность... Ваши отцы, вырвав власть из рук грабителей мира,— открыли перед вами широкий путь на высоту, достигнутую наукой, и на вас возложена обязанность продолжать всемирное дело отцов. 18 лет их мужественной работы, героического напряжения сил показывают вам, какие чудеса способен, — при помощи науки,— делать пролетариат, хозяин страны. Это еще только начало работы создания нового, небывалого государства, начало строительства социалистического мира.

...Нам нужны сотни тысяч врачей, учителей, инженеров, музыкантов, актеров, поэтов, романистов и т. д., нужна армия людей, которые занялись бы поисками и разработкой сокровищ, лежащих в недрах нашей земли. В нашем государстве не должно быть насекомых, опасных для здоровья людей, сорных трав, истощающих соки земли, вредителей лесов и хлебных злаков. Мы должны всю землю нашу обработать как сад, осушить болота, снабдить водой безводные пустыни, канализировать и углубить реки, построить миллионы километров дорог, вычистить огромные наши леса. В нашей стране не должно быть места саран-

Сталин и Горький у мавзолея Ленина во время парада физкультурников.

че, пожирающей хлеб, комарам, которые прививают людям лихорадки, мухам, распространяющим болезни, насекомым, истязающим домашний скот. Крысы и маши — паразиты — приносят нам убытков на сотни миллионов рублей, так же как грызуны полей: кроты, суслики и полевки. Это, разумеется, еще не все, есть еще много разнообразной, веселой работы по строительству первого подлинно культурного социалистического государства, эта работа ждет вас, и она требует широких научных знаний.

Вот какие цели стоят перед вами, а в государствах буржуазии фашисты — рабы и лакеи богачей — кричат: довольно культуры, назад к средневековью, к вере в бога и чорта, довольно техники, назад к ручному труду! Эти крики — крики мещан, одичавших от страха перед их неизбежной гибелью. Они погибают, и они чувствуют: ничто и никто не спасет их от гибели...

Много различных мерзостей творят издыхающие грабители земли.

Ребята, все это вы должны знать! Все, что было вчера и делается сегодня, должно быть известно вам, ибо вы призваны историей продолжать дела отцов ваших не только в своей стране, но и во всем мире».

Во имя этой веселой работы, превращающей будущее в настоящее, мечты в действительность, писал и боролся великий пролетарский писатель.

И потому этими строками, обращенными к тем, кому принадлежит будущее нашей страны, хочется закончить биографию Максима Горького.

БИОСКОП

или разные сообщения о вещах мелких и крупных, известных и неизвестных, видимых и невидимых

В Африке живет улитка ростом с добрую крысу. Она откладывает яйца, покрытые известковой скорлупой, как птичьи.

●

Самый длинный хвост имеет японский петух «Феникс». Это маленький петушок белоснежного цвета. А хвост у него — длиной в 3 метра. Сидя под самым потолком, он мог бы таким хвостом подметать пол.

●

В душные летние ночи в лесах можно видеть светящиеся грибы. Их шляпки окружены ободком света. Цепочки тусклых огней тянутся по лесной почве, среди тлеющей листвы. В тропических лесах Бразилии светятся тысячи грибов, таких мелких, что их еле различишь, и крупных, почти с детскую головку величиной. Они растут на земле, на стволах, на ветвях. Кажется, что ночью в таком лесу зажигается пышная иллюминация.

●

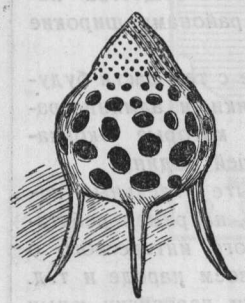
На Мадагаскаре растет банан, у которого черешки огромных листьев, торчащих веером, плотно охватывают ствол и представляют настоящие сосуды для воды. И в каждом таком сосуде всегда скопляется по полведра, а то и по ведру воды. Люди, которым предстоит переход в зной по местам, где много бананов, не берут с собой воды. Захотев пить, они просверливают ножом стенку листа-сосуда. Мадагаскарский банан так и называют «деревом путешественников».

●

Некоторые пауки строят гнезда гораздо лучше, чем птицы. Один земляной паук плетет из тончайшей паутины мешочек величиной с голубиное яйцо. Он делает это так искусно, что мешочек этот кажется сшитым из цельного куска. В самый сильный дождь он не промокает, и его не разорвешь — можно только разрезать острым ножом. Пауки-крестовики, живущие в Южной Франции, строят гнезда, похожие на кошельки, на тыквы или на диковинные цветы, и расшивают их, как настоящие портнихи, полосками черного шолка. В летний день паучиха-мать достает из такого гнезда-цветка кокон с яйцами, закрытый шолковой крышечкой, и подымает его двумя передними лапами навстречу солнечным лучам.

Парашют, который только недавно начал применять человек, миллионы лет уже применяет природа. На самых настоящих парашютах летают по ветру семена одуванчика, крестовика, пушицы и тысяч других. Хлопчатобумажные фабрики на всей земле заняты переработкой в материи парашютов, которыми природа снабдила семена хлопчатника. У одуванчика семя-парашютист подвешено так низко, что парашют никогда не перевернется. А сам парашют состоит из тончайших нитей, между которыми свободно проходит воздух. В наших парашютах выход воздуху дает отверстие посередине. Но люди не сразу додумались до него. В первых парашютах его не было, и их все время болтало и переворачивало.

●

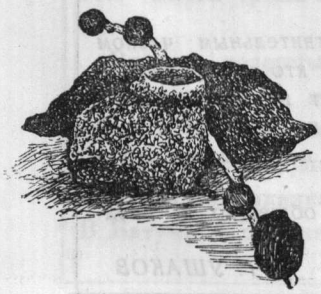


Знаменитый ученый Эрнст Геккель двенадцать лет подряд рассматривал в микроскоп морскую воду. Бутылочки с морской водой ему привозили со всех концов мира: и из Арктики, и с экватора, и с поверхности, и с самых страшных океанских глубин. «Что видите вы в этой воде?» — спрашивали Геккеля. «Я вижу самых красивых животных, какие только есть на земле»,— отвечал Геккель. Потом он издал огромную книгу под названием «Красота форм в природе». И в этой книге на десятках раскрашенных таблиц он изобразил этих, невидимых для простого глаза, самых красивых животных. Тут были тысячи раковинок, похожих на самые тонкие кружева, венцы, короны, колокольчики, рогатые головы сказочных зверей, цветы, сверкающие звезды и украшения восточных дворцов, созданные фантазией арабских художников. И все это были микроскопические радиолярии, или лучевики, миллиарды которых населяют моря от полюса до полюса, от поверхности до самого дна!

●

Есть камни, которые могут гнуться, как толстая кожа или как резина. Плита итаколумита—камня, похожего на песчаник, найденного в американских разработках золота и алмазных копях, прогибается под собственной тяжестью. Если бы из итаколумита сделать мост, он скоро так бы просел, что проходящие и проезжающие по такому мосту опустились бы прямо в реку.

●



Доктор Арнольд и его спутник Стаффорд Раффлез наткнулись в девственном лесу на острове Суматре на необычайный цветок. Он рос прямо на земле, без стебля, без листьев. Весь в бородавках, он походил на сырое мясо и пахнул падалью. Рои мух поднялись с цветка, когда оба путешественника подошли к нему. Они измерили цветок. Он был огромный: целый метр в поперечнике и пяти кило весом. Арнольд и Раффлез вылили со дна цветка четыре литра воды. Гигантский цветок был паразитом. Он питался соками, которые высасывал из корней других деревьев.

Так был открыт в 1818 году самый большой цветок в мире, названный по именам обоих путешественников — Раффлезией Арнольда.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО «КОМПАС»

Известия географического общества № 2.

Мои пожелания

Г. А. УШАКОВ—заместитель начальника Северного морского пути

Я горячо приветствую идею об'единения вокруг журнала «Пионер» читателей, интересующихся географией.

Наша родина так велика, что охватить и исследовать ее может только большой и активный коллектив. Знать свою родину обязательно для каждого советского гражданина, тем более для пионера. Пионеры разных районов, описывая знакомые им места и посылая эти описания в журнал, тем самым будут расширять кругозор своих товарищей и учиться друг у друга. Такая живая связь очень важна: ведь тут перед читателями будет не учебник, а письмо человека, к которому можно дополнительно обратиться по заинтересовавшему вопросу, доспросить или, наоборот, дополнить его, вступить в полемику.

Но не только в этом задача корреспонденций. Географическое общество — это не игра, а серьезное дело, которое, я убежден, даст в результате много исключительно ценных материалов для специалистов-ученых. Мало того, что многие вообще недостаточно знают географию нашей страны, некоторые районы ее только сейчас втягиваются в социалистическое строительство и по существу хорошо известны только отдельным специалистам. Пионеры — корреспонденты географического общества—помогут ознакомить с этими районами широкие советские массы.

На этом деле будут вместе с тем расти будущие географы, хозяйственники и административно-советские работники, которые окончательно освоят богатства нашей родины.

Очень нужны письма о быте отдельных народностей Советского союза, например ребята-тунгусы могут написать много интересного о тунгусах, ребята-якуты—о своем народе и т. д.

Затем я предлагаю завести переписку юных географов с научными работниками, моряками и зимовщиками полярных станций. Письма, присланные ребятами в географическое общество на имя, например, капитана Воронина, радиста Кренкеля или других товарищей, мы будем через управление Северного морского пути передавать им по радио, так что в следующем номере журнала будет уже ответ.

Интересно связаться также с клубом юных исследователей Арктики при Харьковском доме пионеров. Эти ребята провели экспедицию в Мурманск и, наверно, могут написать много интересного.

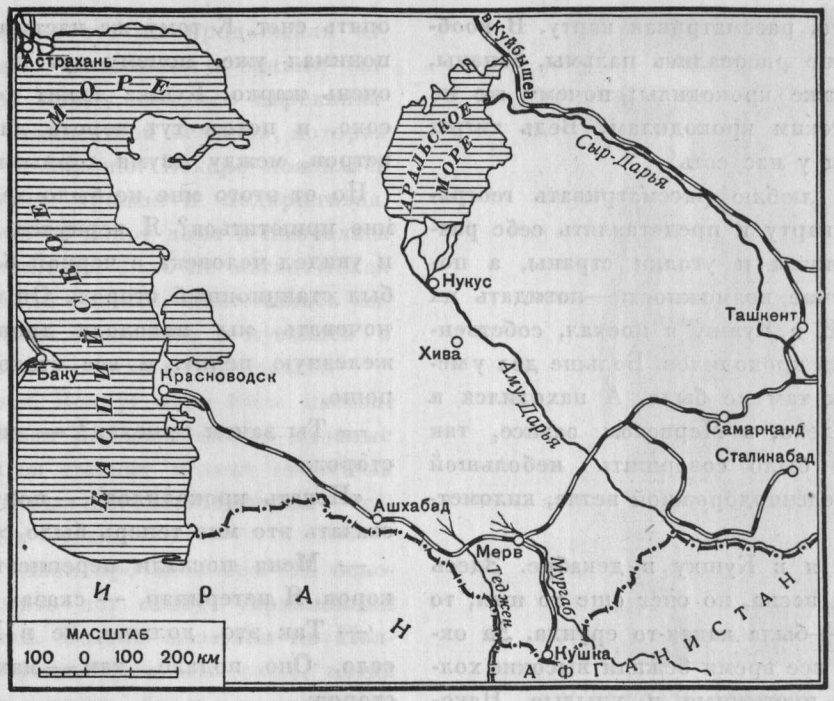
Главное мое пожелание географическому обществу — сохранить нашу советскую живость. Я помню старое Императорское географическое общество, какая это была сухая, мертвая работа! А как увлекательно можно работать в этой области, и как эта работа нужна!..

Есть у меня некоторые пожелания и по поводу устава.

Мне кажется, что действительным членом может стать не только тот, кто сделал географические открытия и имеет научные заслуги, а просто всякий, кто активно работает в этой области, изучает свой край и присылает о нем интересные сведения.

Назвать географическое общество я предлагаю — «Юный географ».

Г. УШАКОВ



Самая южная точка СССР.

Как я ездил смотреть крокодилов

М. Лоскутов. Москва

Советский союз — самая большая страна в мире—это всем известно. Но ее необ'ятную величину трудно сразу себе представить. Да мы и привыкли к этому, и нас не удивляет, например, что в северных районах Сибири стоит мороз в 30 градусов, а в это время в Туркмении, где-нибудь в Ашхабаде, больше 3 градусов тепла. Разница температуры в 60 градусов! В одном месте—суровая зима, в другом—почти тропическое лето одновременно.

Вокруг северных советских островов толпятся вечные льды. В это время на юге СССР, например в Крыму, цветут деревья, люди купаются в теплом море.

Кавказ и Закавказье еще южнее Крыма. В Батуме и Эривани часто целый год совсем не бывает снега. Южнее всего в Закавказье лежит поселок Астара, в Азербайджане,—здесь частица территории СССР далеко врезывается в Иран — до 39 градусов северной широты.

Но есть советская земля еще южнее Астары и всего Закавказья. Это место называется Кушка. Оно в Туркменской ССР, на границе Афганистана. Здесь и есть самая южная точка Союза.

Африка, Алжир, Тунис—для нас нечто необыкновенно южное и далекое. Но не все знают, что советская Кушка лежит на одной параллели с северным побережьем Африки. И даже Тунис, Алжир и Гибралтар севернее ее.

«Какая же она, эта самая Кушка?»—ду-

мал я часто, рассматривая карту. В воображении мне рисовались пальмы, бананы, попугаи, даже крокодилы; почему же не быть советским крокодилам? Ведь тигры и антилопы у нас есть!

Я очень люблю рассматривать географическую карту и представлять себе различные пункты и уголки страны, а потом—в случае возможности—повидать их в натуре. И в Кушку я поехал, собственно, поискать крокодилов. Больше дел у меня никаких там не было. А находился я тогда недалеко, в Мервском оазисе, так что нужно было совершить небольшой крюк по железнодорожной ветке, километров в 300.

Приехал я в Кушку в декабре. Здесь уже стояла весна, но снег еще то шел, то опять таял—была какая-то ерунда. За окном вагона все время бежали высокие холмы, очень пустынные и унылые. Наконец, поезд вошел в какие-то ворота и остановился. Я вышел из вагона и увидел маленькую станцию. За ней расположился небольшой поселок из нескольких улиц. Площадь, по площади ходил теленок. Все это было заключено в каменную крепостную стену, которая окружала поселок, шла по холмам и замыкалась в круг.

Это была крепость Кушка. Построена она 50 лет назад, когда царские войска завоевали эти места. Крепость была поставлена, чтобы защищаться от афганцев.

Я обошел улицы, посмотрел на теленка, поднялся на холмы, потрогал руками крепостную стену. Она была старая и рыхлая. На холмах ничего не росло и лежал мокрый снег. Никаких бананов и попугаев не было.

С холмов видно было, как по поселку ходили красноармейцы и редкие штатские прохожие. Это были тоже наши советские граждане. «Эх, куда забрались жить, на одну параллель с Гибралтаром. Молодцы!» — подумал я.

Однако на одной параллели с Гибралтаром становилось холодновато и повалил опять снег. К тому же наступил вечер. Я понимал уже, почему тут в декабре не очень жарко: Кушка лежит довольно высоко, и потом тут ворота для северных ветров, между двумя горными хребтами.

Но от этого мне не было легче. Где же мне приютиться? Я вернулся на станцию и увидел человека с черной бородой. Это был станционный сторож. Он пустил меня ночевать, мы накололи дров, затопили железную печку, и все стало опять хорошо.

— Ты зачем приехал? — спросил меня сторож.

«Искать крокодилов»,— подумал я, но сказать это мне теперь было стыдно.

— Меня послали переписать тут всех коров. Я ветеринар, — сказал я.

— Так это, должно, не в Кушку, а в село. Оно подале, там,— махнул рукой сторож.

Так я узнал, что и Кушка — еще не самая южная точка. Южнее ее лежит поселок Полтавка, не обозначенный на картах.

Обрадовавшись этому открытию, я на заре встал, взял котомку за плечи и вышел за южные ворота крепости. Я хотел добраться все-таки до самой южной точки. Светило жаркое солнце, было тепло и сухо. Дойдя до каких-то домиков, я сел отдохнуть.

Мимо меня проезжали необыкновенные люди. Они сидели верхом на конях, одеты были в яркие халаты и большие разноцветные чалмы: белые, серые, синие. Люди ездили туда и сюда. Концы чалм развевались по ветру, за плечами всадников висели ружья. «Это уже немножко похоже на Африку и на бедуинов, — подумал я.— Все в порядке».

Вдруг над моей головой раздался голос:

— Эй, Грицько, чи не бачишь — свыня мыкытенкину яблоню жрет?!

— А хай у ней очи повылазят! — отвечал чей-то тонкий голос неизвестно откуда.

Я решил, что сплю и вижу случайно

Полтаву. Однако тут же продолжали ездить всадники с кинжалами и синими чалмами. Голоса между тем все перекликались насчет неизвестной «свыни», которая жрет какую-то яблоню. Вскоре появилась и сама героиня: хрюкая и подпрыгивая, выскочила она из ворот дома и помчалась по улице; сомнений быть не могло: такая свинья не могла сниться. Она мчалась мимо африканских всадников и путалась в ногах их коней, нимало не смущаясь.

Я огляделся. Вокруг меня была настоящая украинская деревня: белые мазаные хаты, узоры на ставнях и даже тополя на улице. Это и был поселок Полтавка — самый южный в Союзе.

Вскоре я узнал про него все. Он основан сорок пять лет назад украинскими переселенцами. Восемь крестьян из Полтавской губернии приехали сюда, когда тут было сплошное болото, расчистили землю, поставили дома, с тех пор и началась тут жизнь.

Одного оставшегося из этих восьми стариков я разыскал, но не помню его фамилии. Он рассказал мне многое о прошлом.

Царские власти всячески сманивали в эти пустынные места переселенцев. Они хотели, чтобы эти жители защищали границу от набегов неприятных соседей — кочевых афганских племен. Для этого они сулили хорошую землю, удобства и кучу богатств. Но переселенцы нашли здесь пустыню и болота. Упорным трудом они обработали землю, завели коров, свиней, птицу. Некоторые понемногу даже разбогатели; не те, конечно, кто ковырял эту землю, а те, кто открыл лавочки, продавал необходимые человеку вещи, давал деньги в долг нуждающимся в средствах для налаживания хозяйства. Прошло много лет, и все тут было уже как и в Полтаве: было село, были богачи и бедняки. У одних были большие стада, другим не удалось завести и коровы.

Украинцы ненавидели своих афганских соседей. А соседи были самые бродячие,

Скотовод-афганец

голодные племена — джемшиды и хозаринцы. Земли они не имели, домов не имели. Только чалмы были да ружья. А стрелять здесь нечего, кроме орлов. Питались тем, что украдут. Из Афганистана их гнали. С русской территории гнали.

Границей с Афганистаном здесь служит речонка Кушка. Часто, бывало, коровы пасутся на берегу, перейдут речку и — уже заграницей, в чужой стране. Тогда джемшиды их к себе гонят, в горы. Пастух бежит в село.

— Коровы опять в Афганистан пошли! — орет он.— Бей афган!

Все хватают колья, дробовики и бегут туда. Начинается схватка.

Так в вечной борьбе и жили соседи...

Кушка лежит за далекими морями, за степями, за пустынями. Но и туда пришла советская власть. Батраки и бедняки вдруг увидали, что главные их враги — совсем не джемшиды. Создали колхоз. Сразу стало жить легче.

Но что же с афганцами делать? Не умирать же им с голоду. А к тому времени их много сюда переселилось, из-за границы

бродят, скачут в своем наряде, а есть нечего.

Тогда переселившимся к нам джемшидам и хозяинам предложили организовать колхоз. Отвели им землю, дали плуги, построили дома.

Но только те совсем не привыкли землю пахать. И в домах не привыкли жить. Даже умываться не умеют... В горах они выкапывают ямы, в них и живут... Утром придешь в колхоз, — а никого нет. Все в горы ушли. И плуги бросили и дома. Через месяц вернутся, а сеять уже поздно. Есть нечего. Начинают у украинцев таскать.

Тогда бывшие богатеи (фамилию одного из них я помню — Ковбаса) стали предлагать соседям колхоз распустить: здесь, мол, нельзя колхозу быть: это особый край. Афганцы все равно растащат.

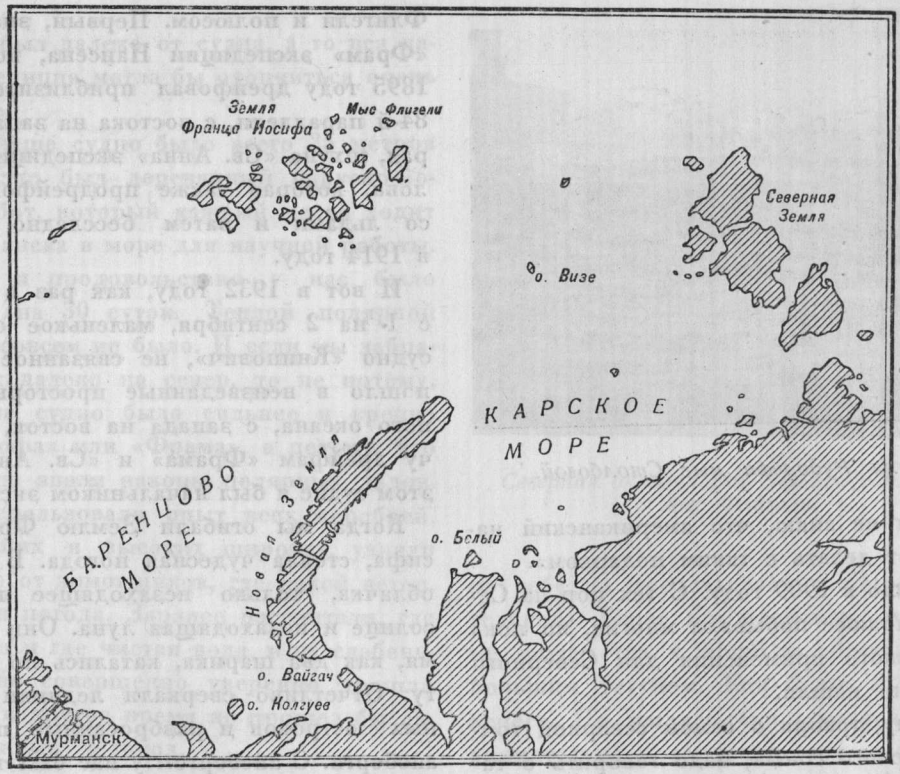
Только ничего из этого не вышло. Украинцы поняли, что надо афганцев научить новому для них делу. Стал украинский колхоз помогать афганскому, и тот окреп. Потом оказалось, кто Ковбаса с приятелями сам таскал из колхоза и всячески вредил ему. Очутился Ковбаса в Соловках, сразу на другом конце Союза; тут и он понял, какая необ'ятная наша страна: от африканских параллелей до северных льдов.

Что же касается меня, то вечером я был в клубе; колхозная молодежь ставила спектакль и слушала радиопередачу из далекой Украины, из Харькова. Молодежь слушала с удивлением и любопытством; этот язык все же уже сильно отличался от их-него. Но это был язык таких же советских людей, как и они, — братьев, живущих за пустынями и морями.

Задумавшись я вышел и незаметно дошагал до самой границы, до речки Кушки и таможенной будки на мосту. Это была самая южная точка. За мной лежал весь СССР. Я посмотрел на заграничную гору. Там шагал афганский часовой без шапки и в кальсонах. Напившись с таможенниками чаю, я отправился назад.

Вот так я искал крокодилов. Хотя я их не нашел, но все-таки повидал много интересного и ничуть не жалею.

Колхозник-афганец из племени джемшидов учится управлять трактором.



Самая северная точка СССР

Мыс Флигели

Проф. Н. Н. Зубов.

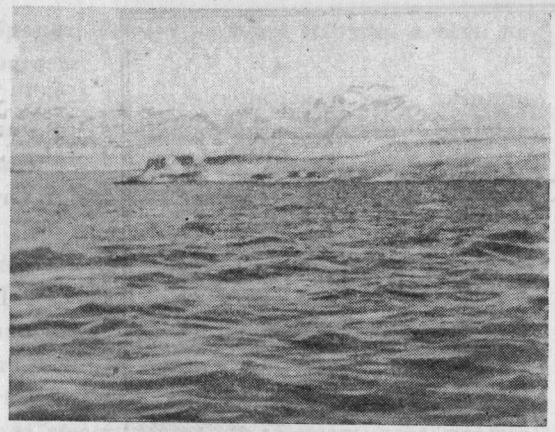
Западная граница СССР пересекает Европу от Черного до Баренцова моря и точно по меридиану 32° 4′ 35″ восточной долготы уходит в Ледовитый океан. В океане граница уклоняется к востоку, потом возвращается на тот же меридиан и так идет до самого полюса.

На востоке наша граница зигзагами идет вдоль берегов Приморья, режет остров Сахалин, огибает Командорские острова и от Берингова пролива опять идет по меридиану 168° 49′ 30″ западной долготы.

На Северном полюсе все меридианы сходятся,—значит, сходятся и наши границы. А раз так, то, значит, самая северная точка СССР—Северный полюс. Так оно и есть на самом деле. Но только Северный полюс — очень плохая точка. Во-первых, там очень холодно, во-вторых, туда трудно добраться. Но это бы еще не беда. Беда в том, что на этой точке ничего не построишь, даже палку с флагом там не поставишь. Поставить-то можно, но никак нельзя поручиться, что она будет стоять на месте. И зимой и летом на Северном полюсе лед, и этот лед никогда не бывает неподвижным. А подо льдом — океан, глубиной никак не меньше 2743 метров, потому что лот, выпущенный Пири на эту глубину, дна не достал.

Когда Пири открыл Северный полюс, он послал американскому президенту телеграмму: «Поздравляю с открытием Северного полюса и приношу его в дар американскому народу».

«Благодарю вас,—ответил президент,—



Земля Рудольфа мыс Столбовой.

только я не знаю, что американский народ будет делать с таким подарком».

Это было в 1909 году. С тех пор на Северном полюсе побывали многие, но пока что никакого применения для Северного полюса не нашли.

Поэтому, говоря о самой северной точке Советского союза, надо говорить о такой точке, на которой можно встать и не думать, что тебя унесет ветром или течением.

Я видел эту точку. Она лежит на широте 81° 51′, на одном из островов Земли Франца-Иосифа.

Землю Франца-Иосифа назвала так случайно открывшая ее австрийская экспедиция на судне «Тегеттгоф». Эта экспедиция в 1872 году отправилась, чтобы пройти Северным морским путем, но у берегов Новой Земли судно зажало льдами, и 30 сентября 1873 г. продрейфовало на группу неизвестных островов. Участники экспедиции обследовали эти острова, нанесли многие из них на карту и добрались до самого северного острова этой группы, который назвали Землей Рудольфа. А самый северный мыс этой земли в честь знаменитого ученого-географа назвали мысом Флигели. Это было 12 апреля 1874 года, и до 2 сентября 1932 года никто не огибал этого мыса с севера. Только два корабля, зажатые льдами, прошли между мысом Флигели и полюсом. Первый, знаменитый «Фрам» экспедиции Нансена, который в 1895 году дрейфовал приблизительно по 84-й параллели, с востока на запад, и вторая, шхуна «Св. Анна» экспедиции Брусилова, которая также продрейфовала там со льдами и затем бесследно пропала в 1914 году.

И вот в 1932 году, как раз в полночь с 1 на 2 сентября, маленькое советское судно «Книпович», не связанное льдами, пошло в неизведанные просторы полярного океана, с запада на восток, навстречу дрейфам «Фрама» и «Св. Анны». На этом судне я был начальником экспедиции.

Когда мы огибали Землю Франца-Иосифа, стояла чудесная погода. В небе ни облачка, только незаходящее полярное солнце и незаходящая луна. Они все время, как два шарика, катались по горизонту. Отчетливо сверкали ледники отдельных островов и разбросанные по морю айсберги. С айсбергом у нас был там один интересный случай.

Всякий айсберг сравнительно невысоко поднимается над водой, подводная часть у него в шесть—семь раз больше надводной. Пока айсберг плавает, вода размывает его подводную часть, во льду появляются трещинки, протаивают глубокие ямы, отваливаются куски. И бывает так, что достаточно самого незначительного удара или толчка, — от айсберга отваливается еще один кусочек и вся ледяная гора теряет равновесие и переворачивается. Моряки это знают и никогда не подходят близко к айсбергам без особой нужды.

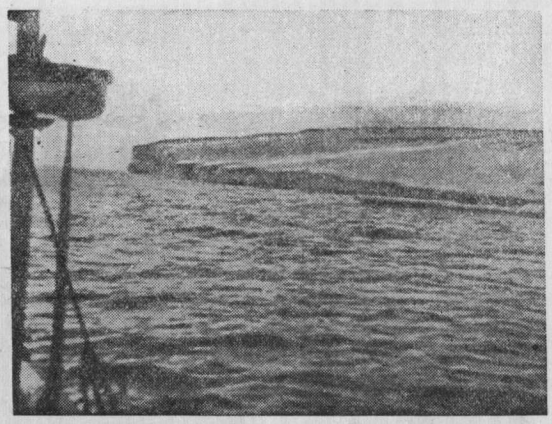
Так вот, пока мы разглядывали Землю Рудольфа и мыс Флигели, справа от нас проплыл айсберг, а слева, на маленькой льдине, сидел тюлень. Кто-то из наших охотников заметил этого тюленя, выстрелил и промахнулся. Тюлень нырнул как ни в чем не бывало, но зато айсберг от этого выстрела опрокинулся. Достаточно было сотрясения воздуха, чтобы перевернулась такая махина. И наше счастье, что

айсберг был далеко от судна, а то вся наша экспедиция могла бы окончиться очень печально.

Ведь наше судно было всего 25 метров длины! Это был деревянный парусно-моторный бот, который каждый месяц ходит из Мурманска в море для научной работы. Топлива и продовольствия у нас было в обрез, на 30 суток. Теплой полярной одежды совсем не было. И если мы забрались так далеко на север, то не потому, что наше судно было сильнее и крепче «Тагеттгофа» или «Фрама», а потому, что мы лучше знали законы полярных льдов.

Мы использовали опыт всех кораблей, побывавших в высоких широтах, узнали по радио от зимовщиков, где какой ветер, где какая погода. Заранее рассчитали, где будет лед и где чистая вода, и на слабеньком судне совершенно уверенно прошли там, где в другое время не прошел бы самый сильный ледокол.

И вот за то, что мы так хорошо все рассчитали, на нашу долю и досталось первыми посмотреть на мыс Флигели с севера. И, конечно, мы были очень горды этим, хотя, по правде сказать, мыс Флигели сам по себе не представляет ничего замечательного. Берег там плавными очертаниями спускается к морю и обрывается небольшим уступом. Как будто и смотреть нечего. Но мы все-таки смотрели очень внимательно, потому, что этот мыс как раз и есть самая северная точка Советского союза и нет никаких оснований рассчитывать, что в Арктике современем может быть открыта земля, расположенная севернее мыса Флигели.



Северная оконечность Земли Рудольфа — мыс Флигели.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Хотя географическое общество еще окончательно не организовано, редакция „Пионера" взяла на себя роль организационного комитета этого общества, и, как видите, выпускает уже второй номер „Известий".

Мы ждем ваших поправок к уставу.

Как назвать общество?

Вот предложения, которые мы получили:

„Компас" — писатель А. Некрасов.

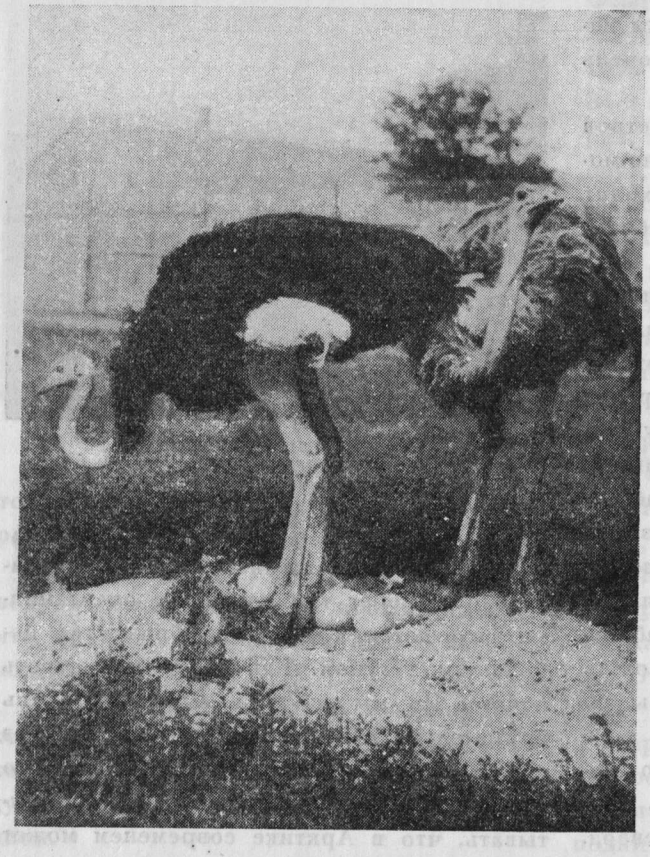
„Юный географ" — заместитель начальника Северного морского пути Г. А. Ушаков.

„Союз одиннадцати" — географическое общество изучения союзных республик СССР — пионер Б. Восьмиградов.

„Советская страна" — читатель журнала Коля Воробьев.

Ваше мнение, читатели!

Ваши предложения!



Аскания нова

Однажды я прожила лето в государственном заповеднике Аскания нова.

Это огромный зоопарк на свободе. Расположен он на юге, в 60 километрах от Черного моря, среди безбрежной степи. Здесь, в тенистых садах, на пруду, на больших огороженных степных участках, живут вместе с местными степными животными уроженцы Африки, Америки, Австралии и Азии.

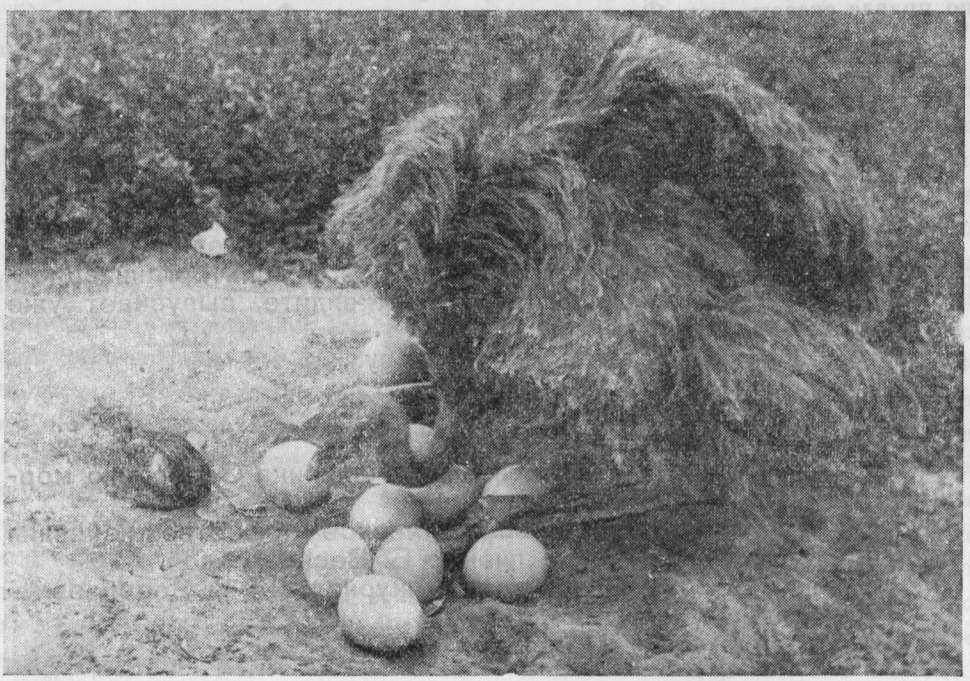
Многие из них совсем ручные.

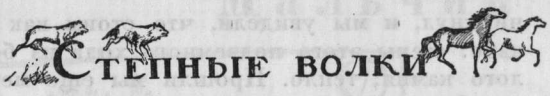
Вот это африканские страусы. Они очень нежные и заботливые родители. Самка несет в год 10—15 яиц. По сравнению с курицей как будто немного, но зато что это за яйца! Одного хватит на яичницу для пяти человек.

Высиживают птенцов самец и самка поочереди. На первой фотографии как раз и снят момент, когда страусы сменяют друг друга.

Меня очень интересовало, как же страусята вылупляются на свет: ведь скорлупа страусиного яйца такая твердая, что его с трудом можно разбить молотком или камнем. Забравшись на крышу ближнего сарайчика, я наблюдала за гнездом страуса. Вот одному страусенку пришла пора выбираться из яйца. Очевидно, страусиха услышала, как он там пищит и ворочается. Своим крепким клювом она изо всей мочи принялась молотить по яйцу. Я даже испугалась. Ну, думаю, так и от птенца ничего не останется. Однако я ошиблась. Из осколков скорлупы выкатился мокрый, слабый, очень глупого вида страусенок. Через час он уже деятельно клевал что-то в песке, а дня через два становился на свои длинные, неуклюжие ноги.

Г. Н. РОЗАНОВА-КОШЕЛЕВА





Степные волки

Около нашего села Яшкуль лежит большая пустынная степь. Здесь очень редко выпадают дожди. Ближе к Каспийскому морю дожди бывают чаще, и климат там не такой сухой.

У нас развито коневодство. Круглый год в степях носятся табуны лошадей.

Большой вред нашему скоту приносят степные волки. Зимой они страшно голодные и злые, в поисках пищи заходят даже в деревню. Очень много скотины и собак они уничтожают. Иногда они даже нападают на людей, в особенности на ребят.

Однажды, в восемь часов вечера, один мальчик из нашего детдома вышел на улицу. Он был одет в шубу, но нараспашку. Из-за угла неожиданно выскочил волк и схватил мальчика за шубу. Благодаря тому, что шуба была расстегнута, мальчик остался жив. А шубу волк утащил в степь. На другой день эту шубу нашли в степи всю изорванную на кусочки. Наши охотники никогда не дают спуска волкам. Когда они охотятся на волков, они убивают сразу по два—три зверя.

Арон Гольдварг

Село Яшкуль, Кетшебенеровского сельсовета, Черноземного района, Калмыцкой автономной области.

Таинственная пещера

Как-то раз Вася Пивоваров рассказал мне, что года три тому назад он ходил со своим братом Кроней в поле и по пути заходил смотреть пещеру...

— Какую пещеру? — спросил я его.

— А возле хутора седьмого. Подходим, видим большая яма. Мы в нее спустились.

— А большая яма-то? — спросил я его.

— Метра два высоты и метра четыре ширины. Ходы там в разные стороны. Походили мы под землей минут двадцать, посмотрели пещеру и пошли домой.

Я думал, что он врет мне.

Как ни убеждал он меня, все-таки я ему не поверил, решил летом сходить в эту пещеру сам.

Прошло две недели.

Скоро нас должны были отпустить на каникулы. Перед каникулами директор школы сказал, что будет устроена экскурсия в пещеру.

Я очень обрадовался. Ну, думаю, посмотрю эту пещеру.

А экскурсию взяли да отменили: боялись, что пещера завалена снегом. Тогда мы решили идти вчетвером — Степа и Вася Жеребцовы, Саша Клепиков и я. Саша сказал, что знает дорогу. Весь день мы говорили про экскурсию.

Мы взяли с собой железную лопату. Степа пошел на лыжах, а мы так,— у нас лыж не было.

От деревни до пещеры было километров семь или восемь.

Шли мы сначала по дороге. Дошли до мельницы, которая стоит на реке Увельке. Тут надо сворачивать. До пещеры еще километров пять. А в пещеру никто не ездит и не ходит:

дороги к ней нет. Что делать? Идем без лыж, проваливаемся в снег на каждом шагу. Степану на лыжах хорошо: он не проваливается.

Прошли мы так километров 5, а пещеры все нет. Спрашиваем Александра:

— Где же пещера?

— Здесь где-то, а точно сам не знаю: давно уж я тут был.

Тогда мы решили, чтобы он взял лыжи и пошел искать пещеру, а мы посидим. Как найдет пещеру, пусть машет нам палкой.

От'ехал Александр от нас и машет. Сначала мы идти к нему не хотели: думали, что он один боится ехать и решил нас обмануть; но он продолжал махать, тогда мы пошли к нему и увидели большую яму, вокруг нее несколько березок и большие скалы, как на берегу реки. Подошли ближе к яме, смотрим — под одной из скал большущая дыра под землю, ввиде тоннеля, и вход в нее, как дверь. Свету нет, зря лопату таскали.

Я предложил ребятам идти в пещеру.

— Обожди,— говорит Степан,— нужно обследовать сперва наверху пещеры. Может быть, за камнем или в яме какой-нибудь сидит зверь или разбойники.

Обошли мы вокруг пещеры—нигде никого нет.

Я первый полез в пещеру, а за мной все остальные. Спустились в яму, а под землю боимся идти: там очень темно, а посветить нечем. Я опять полез первый, а они за мной. Зашли мы метров на 15, темно, хоть глаз выколи,—ничего не видно. «Чиркай,— говорят ребята,— спичку». Я чиркнул, и мы увидели, что стоим как в избе: стены этого подземного хода из белого камня; тепло. Прошли мы еще метров 5 и наткнулись на несколько таких же ходов. Не успели мы отойти и метра, вдруг я упал в какую-то яму по пояс. Чиркнул я спичку и удивился: возле меня глубокая яма, как колодец. Если бы я попал в нее, то и костей моих не собрать бы. Стали рассматривать эту яму. Дна не видно, потому что спичка мало дает света; бросили камень, слышим ударился о дно, значит, воды нет. Рассмотрели мы хорошенько этот колодец, а в него не спускались. Походили под землей еще немного и пошли домой.

Тут я поверил словам Васи, потому что все, о чем он говорил, сам увидел собственными глазами.

Пришли мы домой, расспросили у стариков про эту пещеру. Они рассказали, что можно спуститься в тот колодец, который мы видели; там тоже идут ходы во все стороны, и очень длинные, на несколько километров; там совершенно темно и можно легко заблудиться. Один ход идет под реку Увельку, а второй выходит у Рыболовной заимки, в 5 километрах от пещеры. Вот какие длинные там подземные ходы.

В старину в этой пещере жили религиозные люди, кажется, староверы.

КЛЕПИКОВ П.

Челябинская область, Н.-Увельский район, Красносельский сельсовет, Красносельская неполная средняя школа, ученику 7-го класса Клепикову Павлу Павловичу.

Читатели, помните, что нет уголка в нашей необ'ятной стране, который не был бы чем-нибудь интересен и замечателен. Изучайте свой район, свой город, шлите нам описание тех мест, где вы живете и где вы бывали.

Пишите так, чтобы каждому захотелось посмотреть своими глазами то, что вы опишете.

Вы прочитали второй номер „Известий" нашего общества. Кому не хотелось бы посмотреть Кушку, обогнуть мыс Флигели с севера, пожить в Аскании нова, с'ездить в село Яшкуль к Антону Гольдваргу или к Пете Клепикову, в Челябинскую область, посмотреть пещеру, где жили староверы.

Пишите, ребята, по адресу редакции, на конвертах делайте надпись: для географического общества.

Мальчик и дерево

— Вот мы и узнаем, насколько ты вырастешь, — сказал папа Фогель маленькому Фотелю.

Сказано — сделано.

Прошла зима.

— Если так пойдет дальше, маленький Фогель, сказал отец, — то, пожалуй, через несколько лет от тебя совсем ничего не останется.

ТЕОДОР ПЛИВЬЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В АТАХУАЛЬПЕ

ПОВЕСТЬ

Перевод с немецкого

Рис. В. Цельмера

(*Окончание*)

„У нас — спокойно..."

Улицы Атахуальпы опустели. Люди попрятались в свои хижины, как в берлоги, и испуганно перешептывались. Моряки, приезжавшие в эти дни на берег, думали, что попали в зачумленный город. Они расхаживали по городу, видели улицы, дома, но не видели ни людей, ни экипажей, не слышали голосов. Всюду закрытые двери и завешенные мешками окна.

Три матроса шли под вечер с мола к «плаcса». Они свернули в одну из поднимающихся в гору улочек и остановились среди темных, тесно сгрудившихся домишек.

— Петер! — сказал один.

— Кристер! — ответил второй.

И оба посмотрели на третьего, которого звали Яп.

— Что они, перемерли, что ли, все? — промолвил тот.

Они двинулись дальше, стараясь держаться середины улицы и не раскрывать рта. На одном углу остановились. Кристер роздал папиросы, и все трое закурили.

— Дым дезинфицирует! — сказал он.

А Яп прибавил:

— А рюмочка водки, пожалуй, еще лучше.

Яп предложил пойти к Милли. Они прошли несколько тихих переулков между погруженными в сумерки домишками. Этот вымерший город навел на них уныние. Все трое были не робкого десятка, к тому же за долгие месяцы плавания они страшно соскучились по выпивке, но когда в грязном коридоре Милли на них пахнуло зеленой пылью морской травы и затхлым воздухом, моряки убедились, что дело действительно нешуточное. Они молча повернули и направились к берегу.

Проходя мимо трактира дона Хозе, они заглянули и туда. Дон Хозе был еще жив. Он сидел у себя в пустом трактире, обычно набитом народом, устало опершись на стойку; его донья сидела рядом. Их чудовищные туши разнесло еще больше, осунувшиеся лица пожелтели. Дон Хозе выглядел как

очумелый. Он посмотрел на входящих, опустил голову на стойку и заснул.

— Помирает он, что ли? — спросил Кристер.

Он пристально посмотрел на донью: она продолжала неподвижно сидеть рядом со своим «благоверным» и тупо глядела перед собой красными слезящимися глазами.

Они свернули к молу, раздумывая, как им вызвать шлюпку с корабля, как вдруг увидали идущую им навстречу высокую, стройную фигуру в не по мерке коротком пиджачке и панаме.

Кристер не хотел ни с кем разговаривать, но Петер и Яп остановились.

— Ведь это же...

— Да, чорт возьми!

— Клаус? Ты?

— Он тоже весь желтый! — простонал Кристер.— Шафрановожелтый! И исхудал как скелет!

— Так вот ты где, значит, обретаешься! — проговорил Яп, взял Клауса за плечи и стал трясти его.

Но вмешался Кристер:

— Скажи-ка, что у вас здесь свирепствует. Желтая лихорадка, что ли?

— Фашизм здесь свирепствует, а не желтая лихорадка,— сказал Клаус вполголоса.

— Что свирепствует? — переспросили матросы.

Клаус повторил.

— Ну, если только это, тогда пойдем, дернем по маленькой.

— А вы каким образом здесь? — поинтересовался Клаус по дороге.

— С «Кап Финистерре»!

— «Кап Финистерре» здесь?

— Да, сегодня в полдень он вошел в гавань. Гуано мы тогда не получили. Прогулялись в Австралию, оттуда — в Гамбург, а теперь вот вернулись сюда!

— А остальные тоже еще там?

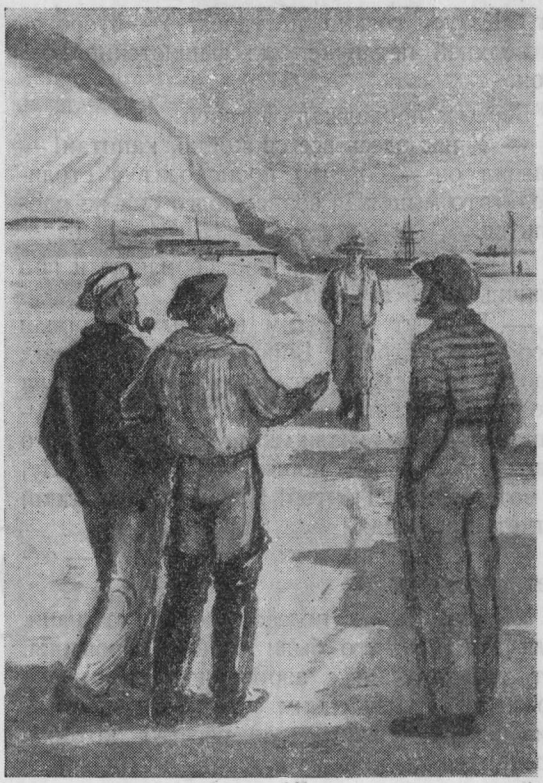
— Нет, только мы трое остались; ну еще старик, конечно, и «второй» тоже; остальные — все новые.

Клаус повел их к Фелипе. Там уселись за столик.

— Мартин ведь тоже здесь! — сказал Клаус.— И Линднес тоже! Я его сейчас приведу, он живет неподалеку.

Он убежал и вскоре вернулся с Линднесом. Тут пошли расспросы и рассказы; желтая лихорадка была забыта.

— Попался я все-таки в лапы Слимми! — заявил Линднес.— Там, в горах, в пампе,



— Ведь это же... Клаус!

пришлось мне отрабатывать ему несколько пачек табаку и несколько рюмок водки, за которые он когда-то расплатился вместо меня. Теперь, однако, это — уже дело прошлое. Сейчас у него есть для меня немецкий пароход. Он стоит тут, в бухте. Через несколько дней он уходит.

— Про Ачассо ты знаешь что-нибудь? — обратился Яп к Клаусу.

Клаус печально покачал головой. Вскоре он встал:

— Ну, я пойду, пришлю Мартина.

Линднес остановил его на минутку:

— На пароходе нужен еще молодой матрос. Это, пожалуй, для тебя бы годилось!

— Да, это было бы недурно! — ответил Клаус.

Вернувшись в префектуру, Клаус застал там «второго» — штурмана-наци с «Кап Финистерре»; с ним вместе пришел и капитан. Они сидели наверху, в комнате у Берендса. Тот велел позвать Клауса, чтоб показать своим гостям, что вышло в его руках из этого приблудного мальчугана с «Кап Финистерре».

Капитан выглядел таким же, каким знал

его Клаус, только постарел. У «второго» в верхней петличке был фашистский значок.

Берендс продолжал разговор.

— У нас здесь все спокойно, капитан! — заявил он.— То, что происходит в столице,— это мышиная возня; долго она не продлится.

«Второй» заговорил про Германию и про уличный бой в Гамбурге.

— Ну, тут мы этим красным устроили хорошую встречу. Впрочем, один из них разбил-таки мне фасад,— он показал: на месте нескольких передних зубов зияла пустота.— Но мы гнали их по улице до самого канала. Все так и поплюхались в воду! Ну, а вот выборы, Гюнтер! Читал ты последний отчет о выборах?

— Как же, во всех подробностях,— ответил Берендс.

Капитан тоже подавал голос за наци. Для этого у него были особые основания. От той истории с аэропланом он в свое время отделался одним страхом и благодарил за это фашистскую партию, которая поспешила замять это дело. Он собирался выйти на пенсию. Бо́льшую часть своих сбережений он вложил в ресторанное предприятие своего зятя. Дело, однако, с каждым днем падало. Наци же обещали поставить снова на ноги мелких промышленников, в том числе и владельцев ресторанов.

— Вот потому-то я и голосовал за наци. А вообще я в этом деле ничего ровно не понимаю! — признался капитан.

Капитан заявил, что хотел бы воспользоваться случаем посмотреть страну или, по крайней мере, город под властью фашистов.

— Вы попали как раз куда следует, капитан,— сказал Берендс.— Здесь происходят крупные дела.

— Да, приятно, знаете, попасть в город, где все идет как следует. Посмотреть, скажем, хороший ресторан...

«Старик впал в детство, — подумал Берендс.— Все-то у него рестораны на уме!»

И он продолжал значительным тоном:

— Мы готовим здесь большое выступление. Ах да, Ачассо! Вы ведь его знаете? Этот фрукт доставил мне немало хлопот. Впрочем, я еще тогда, в плаванье, на лбу все у него прочитал... Завтра вечером его привезут сюда. Ну и разделаюсь же я с ним! Собственноручно!

— Ну, отлично, отлично,— сказал «второй».— А все же пока что не мешает пройтись по здешним ресторанчикам!

Ему хотелось поскорее выбраться из душной полицейской квартиры, и он поторапливал приятелей.

Берендс не успел еще выпалить все свои заряды и как следует об'яснить своим старым приятелям, какую важную роль он здесь играет. Не успел он ничего рассказать и про своего «питомца» Клауса, который в его руках из ничтожества стал человеком.

— Давайте пройдемтесь сначала по моим «владениям»! — предложил он.— Посмотрите на лица в калабузо — вы увидите, что нам тут приходится тоже нелегко!

Клаус остался один. Он издали продолжал наблюдать за этой компанией. Сперва они заглянули в казармы, где в этот вечер было необычайно шумно. Водка лилась рекой. Солдаты этой ночью отправлялись в поход в Сан-Доминго для проведения в жизнь того самого «большого выступления», о котором говорил Берендс. Затем Берендс показал им камеры для допросов. Клаус через двор слышал, как он с особым удовольствием рассказывал:

— Вот это кабинет, а вот это инструменты для «извлечения истины»; они служат доказательством заядлого упорства и безграничной живучести этих молодцов.

Капитан первым показался на пороге. Он был в свое время старым рубакой, с довольно крепкими нервами. Клаус видел, как он снял шляпу, вынул из кармана белый носовой платок и провел им по своему лысому черепу. Он не дожидался, пока выйдут его спутники, и пошел своей тяжелой пошатывающейся походкой через весь задний, потом через передний двор, но и там не остановился. Берендс показал ему слишком много. На улице оба спутника догнали его. Берендс хотел дать ему представление о расцвете ресторанного дела в фашистском городе.

Но то, что увидел капитан, его разочаровало.

А немного спустя, когда префект разыскал небольшую компанию и взял на себя роль гида, капитан совсем утратил способность соображать. Осматривать увеселительные места Атахуальпы под руководством префекта Саведры — это не пустяк.

Прежде всего капитан был удивлен, что в ресторанах он не видел публики: префект заменял собою всех посетителей, от него же исходили все заказы. Господин префект оказался совершеннейшим рыцарем, и никто не смел в его присутствии расплачиваться за выпитое или хотя бы, по старому обычаю моряков, расплачиваться по очереди за всех. Но, господи, он сам тоже не расплатился, не расплатился и во втором ресторане! В третьем несколько бутылок и стаканов было разбито вдребезги, а хозяин тоже не получил ни пфеннига.

«М-да, чорт возьми, если такая система по отношению к ресторанам, как в этом фашистском городе, будет и в Германии...»

Капитан стоял посреди улицы, погруженной в ночную тишину. Он еще раз снял фуражку и стал тереть носовым платком свою старую лысину.

— Нет, спасибо! Я больше не ходок! — он решительно отказался от приглашения зайти в четвертый ресторан.— Я пойду поищу гостиницу.

— В «Сарагоссе» есть чистые номера,— сказал префект.

Капитан отправился туда, заказал себе номер, уселся за стол и стал мрачно в полном одиночестве опорожнять стакан за стаканом.

Еще день и еще ночь

Когда префект вернулся домой, Клаус услышал его шаги еще на лестнице. Он разговаривал с Берендсом, который, повидимому, чем-то очень его рассердил.

— Что вы говорили про Сан-Доминго с этим тупоголовым принго на вашем тарабарском языке?

— Что мне предстоит там выполнить важную задачу, господин префект!

— Ах вы, пустомеля! Болтун! Кто вас тянул за язык?

Берендс напрягал все силы, чтобы держаться прямо, но префект видел, что он едва держится на ногах.

«Еще шлепнется мне сейчас на шею, чорт возьми!» — подумал префект и гаркнул опять:

— Дистанцию, сударь! Дистанцию на два шага!

Берендс дюйм за дюймом стал пятиться назад.

— Смирно! Стоп!.. Вы думаете, я забыл, что вы уже дважды дали улизнуть этому... этому Ачассо... Вы думаете, что я позволю вам повторить это в третий раз?..

— Господин префект...

— Молчать! В пять часов отряд отправляется в поход. Вы останетесь здесь для гарнизонной службы. Поняли?

— Так точно, господин префект!

— Кругом, марш!

Берендс повернулся кругом и вышел нетвердой походкой из кабинета префекта.

Когда префект позвал Клауса к себе, тот застал его на обычном месте, у окна, откуда открывался вид на бухту, окутанную ночной тьмой.

Клаус стал приготовлять коктейль, искоса посматривая на префекта. Румянец исчез за последние дни с лица Саведры, оно стало даже как будто вялым. Приходилось немного смягчать расправы. Трудно было сказать заранее, как повернутся события. Надо было поэтому действовать осторожно. Он был похож в эти дни на канатоходца, и ему необходимо было потренироваться в соблюдении равновесия.

Клаус тоже потерял уравновешенность. Его растерянность дошла до того, что даже встреча со старыми товарищами почти не

обрадовала его. Он чувствовал себя на оторванной льдине, которая в любой момент могла расколоться под его ногами.

Клаус наполнил стакан. Префект опорожнил его. Клаус наполнил второй. Саведра прислушивался к шуму волн и смотрел в даль ночного моря.

— Через час они от'езжают! — произнес он.— А потом еще день и еще ночь, Грингито, и все будет кончено.

— Все будет конечно,— как эхо повторил Клаус.

— Этот господин, что сидел не на своем месте,—продолжал префект,—полетел вверх тормашками. Много работы оставил он нам, но теперь будет проделана основательная чистка. Это произойдет завтра. Давила — ему легко. Сидит себе в самой гуще событий, имеет дальнобойные орудия, самолеты, кавалерию. А у нас, Грингито, что? Сто сорок конных полицейских. Из них сто двадцать отправляется через час в Сан-Доминго. Но когда они вернутся?.. А пока надо держать себя в узде. Можешь ты держать себя в узде, Грингито?

— Да, господин префект.

— Слыхано ли что-нибудь подобное? Заводится этакая компания и именует себя... Как она себя именует, Грингито?

— Не знаю, господин префект.

— Не знаешь? Ах ты, младенец! Советом! Просто и коротко: совет. Ну-ка, повтори.

— Совет, господин префект.

— Сегодня ты еще можешь произносить это слово, пожалуй, еще и завтра, но уж послезавтра кто только посмеет его произнести,— расстрел. Так вот, значит, и у нас советы! Живот надорвешь от хохота. Тебе не смешно, Грингито?

— Нет, господин префект.

— Это оттого, что у тебя не хватает воображения. Ну, представь себе, например, этого старого рыбака: вместо корзин в руках портфель подмышкой! Или этого хромого Патакоху — тоже с портфелем, или Пингвина, Чиу и — как их всех там зовут? — этих рабочих из пампы или крестьян с юга. Хорош совет!.. Без пушек, без амуниции, а воображает себе, что может плевать нам в лицо! Ну да ладно. Завтра вечером будет пробуждение. Подай-ка сюда эту бумажку, Грингито!

Дон Артуро развернул одно из сообщений Давилы.

— Да, так здесь написано: завтра вечером, ровно в восемь часов начнется. А я предложил, чтобы флот расстрелял из пушек этот совет! Ну, во всяком случае, у нас теперь имеется полнота власти, в которой отказывал нам тот господин. Они все будут расстреляны, эти старые негодяи, бродящие по стране с корзинами и якобы мирно продающие рыбу: и Патакоха, и Чиу, и... как их всех там звать... Их должно набраться около сотни, потому-то мы и ждем завтрашнего вечера, когда мы захватим этих птиц в Сан-Доминго. Их должна набраться сотня, точнее, сто три, ибо трое еще будут повешены. Это будут: старик с корзинами — с одной стороны, хромой Патакоха — с другой, а посередке... А нука, кто будет висеть посередке, Грингито?

— Не знаю, господин префект.

— Ну, конечно же, Ачассо! Ты ведь не забыл его? Ты ведь выследил его еще там, в этом ноевом ковчеге. Только этот растяпа, конечно, дал ему улизнуть. Но завтра он будет доставлен сюда. Ради него я специально добавил лишних двадцать человек. И это все не шутки, Грингито. Когда эти сто три подавятся своим песнями, они у меня станут пугалом для всех граждан. А эти бандиты — доны Эмилио, Эдуардо, Родригес, Альберто! Как они меня обнюхивали. Я их тоже приглашу. Все должны полюбоваться, когда эти сто три будут болтаться с высунутыми языками. Тогда посмотрим, не задрожит ли у дона Эмилио его козлиная бородка! И другие попрячутся в свои норы и пикнуть не посмеют.

Префект грузно оперся головой о локти.

Здание префектуры тем временем огласилось шумом. Он доносился из конюшен. Топот копыт, бряцанье сбруи, сонные выкрики. Это длилось довольно долго, потом раздался голос команды. Длинным, вытянутым строем всадники протромыхали в воротах, а на улице снова загремели железом, заскрипели ремнями, зацокали копытами.

Дон Артуро встал и подошел к окну. Он смотрел вслед отряду, медленно продефилировавшему мимо и сворачивавшему за угол.

Префект отошел от окна. Кабинет заполнился голубоватым светом. Наступал день, чреватый событиями. Клаус все еще оставался на прежнем месте, точно застыв в сморившем его сне. Префект, оставив его в этой позе, направился к своей постели.

Через несколько минут и он погрузился в глубокий сон.

Проснувшись, Клаус услышал чей-то голос:

— Я же сказал вам: нельзя терять ни минуты времени!

В коридоре был слышен еще чей-то голос, говоривший по-испански. Это был голос сержанта Нивеля:

— Сюда нельзя входить: это частная квартира,— понимаете?

— Что значит «частная квартира»? Нельзя терять ни одной минуты!

В ту же минуту послышался удар кулаком в дверь, затем другой, третий. Клаус вздрогнул, подбежал к двери, отодвинул засов и очутился лицом к лицу с капитаном «Кап Финистерре».

— Ну же, скорей! Давайте моих людей!

— Сюда нельзя входить! — сержант загородил капитану дорогу.— Сейчас все будет улажено. Пойдемте вниз, в канцелярию. Грингито!

Клаус все понял: надвигался норд и паруснику необходимо было сейчас же выйти из бухты в открытое море; между тем половина его экипажа была арестована накануне вечером и лежала сейчас в калабузо.

Капитан прошел с сержантом вниз, в канцелярию; Клаус вернулся обратно в кабинет, чтобы разбудить префекта. Дон Артуро не подавал никаких признаков жизни. Не зная, что предпринять, Клаус подбежал к окну.

Кабинет был наполнен предрассветным сумраком. Желтый туман клубился над морем. Большой пароход покинул уже место своей стоянки и виднелся на фоне несущихся облаков. На других кораблях один за другим взвивались паруса: все спешили выплыть в открытое море. Только на маленьком «Кап Финистерре» не видно было никакого движения: он словно застыл перед надвигающимся нордом, имея с подветренной стороны грозный, скалистый берег.

Клаус вернулся к префекту. Он не довольствовался уже тем, что тряс его. Он повернул его на бок, потом на спину. Поднимал его руки вверх и опускал их несколько раз. Зажать ему нос (это средство действовало всегда на Линднеса) он не осмеливался. Он стащил ноги в ботфортах с края кровати так, что они коснулись пола.

Дон Артуро начал отдуваться.

— Господин префект!

Тот продолжал отдуваться.

— Господин префект!

Тот еще раз засопел.

— Господин префект!

— Ну, в чем дело?

— «Кап Финистерре»!

— К чорту!

— Норд, господин префект!

— По мне — хоть три норда!

Но теперь Клаус уже больше не оставлял его. Он знал, что паруснику угрожает опасность налететь на скалистый берег, если он не успеет выбраться из бухты, а для этого капитану нужны его люди. В конце концов дон Артуро пришел в себя. Ноги его были уже на полу, так что ему пришлось только встать на них.

— Что тебе от меня нужно, каналья?— спросил он.

— «Кап Финистерре», господин префект! Надвигается норд. Капитан внизу, он хочет получить своих людей.

— А, это старый Ной со своим ковчегом! Сейчас приду. Спустись вниз и скажи ему!

Клаус сбежал вниз.

— Дон Артуро сейчас придет, — сказан.

Капитан опять повернулся к окну. Оттуда тоже была видна бухта с мечущимися по ней судами и с «Кап Финистерре», бешено рвущимся на своем якоре.

Префекта все еще не было. Клаус сбегал еще раз наверх, потом еще раз; теперь ему вместе с капитаном пришлось стучать в запертую дверь. Только через двадцать минут дон Артуро открыл дверь.

— Вечно эта служба! Ни минуты передышки! — ворчал он. — Зажги лампу, Грингито!

Капитан не мог больше сдерживаться. Он ударил кулаком по столу так, что все на нем зазвенело:

— Поторопитесь, сударь! Что вы, собственно, думаете, чорт возьми!

— Терпение, сеньор. Мы можем кончить дело только в законном порядке. Написаны протоколы, Грингито?

Протоколы еще не были написаны.

— Вот видите, капитан, какое хозяйство. А ко всему этому город каждый вечер полон пьяных матросов — ступить некуда...

У капитана глаза выкатились на лоб. Он посмотрел кругом, как бы выбирая, кого первого грохнуть кулаком. Дон Артуро заговорил примирительным тоном:

— Я готов пойти вам навстречу и сокра-

тить процедуру. Я согласен обойтись без протоколов.

Он взял в руки составленный сержантом список и стал читать по порядку фамилии матросов. Прочтя первую фамилию, он прибавил:

— Арестован за пьянство и нарушение общественного спокойствия. Полфунта стерлингов.

Так же медленно и обстоятельно он стал читать весь список.

— Семь человек! — перебил его капитан. — Семь человек! Это составляет три с половиной фунта. Здесь пять! — он бросил пятифунтовый банкнот на стол, второй он держал в руке. — И столько же я прибавлю сверх платы, если в течение двух минут получу обратно своих людей!— громко добавил, вынимая часы.

— Беги, Грингито! Бегите, сержант, возьмите с собой семь человек, чтоб скорее их отвинтить!

Префекту вспомнилось, что семи человек, пожалуй, в данный момент не наберется во всей префектуре, поэтому он сам тоже направился в калабузо. Не прошло двух минут, как капитан получил своих людей и дон Артуро положил второй пятифунтовый банкнот в свой бумажник.

— Сбегай, Грингито, покажи этим господам кратчайший путь. Знаешь, там вокруг церкви, а потом мимо водопровода. До свиданья, капитан, не обессудьте!..

Клаус с капитаном и семью матросами были уже на улице. Меж скалистых обрывов над их головами клубилась бурная ночь. Горячий ветер лизал круто спускающиеся вниз улицы, швырял матросам полные пригоршни песку в лицо. О разговорах нечего было и думать. Яп на ходу бросил Клаусу:

— Из тебя вышел хороший поросенок! Линднес мне все рассказал.

Матросы бежали бегом, боролись с ветром, исчезали в клубах пыли. Обливаясь потом, они добежали до мола.

Вернувшись, Клаус застал префекта за письменным столом. Он курил крепкую сигару — одну из тех, какими он обычно подбадривал себя. Внизу шумел прибой; волны, пенясь, набегали на прибрежные камни, подтачивая фундамент префектуры. Весь воздух был полон песку. Воздушные вихри сметали со скал выжженные солнцем земляные массы, уносили с собой, барабанили песком в окна и стены домов.

— Позови сержанта! — приказал префект.

Клаус привел сержанта.

— Нам надо освободить место для тех, которых привезут из Сан-Доминго. Уложите заключенных теснее, хоть друг на дружку. Одну только ночь придется им потерпеть у бруса. Плотник уже здесь?

— Так точно, господин префект!

— Сколько людей в нашем распоряжении?

— Двадцать один человек, господин префект. Считая телеграфиста и одного штатского служащего, — двадцать три человека. А вместе с Грингито — двадцать четыре. Лейтенант Берендс двадцать пятый.

— Грингито, вы и «Грифоносый» прикомандировываетесь к штабу. Остальных разбейте на три отделения. Одно отделение составит уличный патруль. Команду над ним примет Берендс. Два других оставим здесь в боевой готовности.

— Слушаюсь, господин префект.

Клаус принес телеграммы. Их было много. После этого он мог уйти к себе, в коридор. Было еще так темно, что он не мог разобрать как следует через окно, что происходит во дворе. Там двое плотников сооружали три помоста. Клаус слышал, как они стучат молотками. Этот стук отдавался как гром в душе Клауса. В кабинете префекта какой-то тяжелый предмет был брошен об стену и на пол посыпались осколки. Клаус побледнел как стена.

Но этот мальчик стал стойким; он мог дрожать как тонкий стальной клинок, но был настолько закален, что его нелегко было сломать. И когда к вечеру префект окликнул его, он был готов ко всему и вошел в кабинет, вполне владея собой.

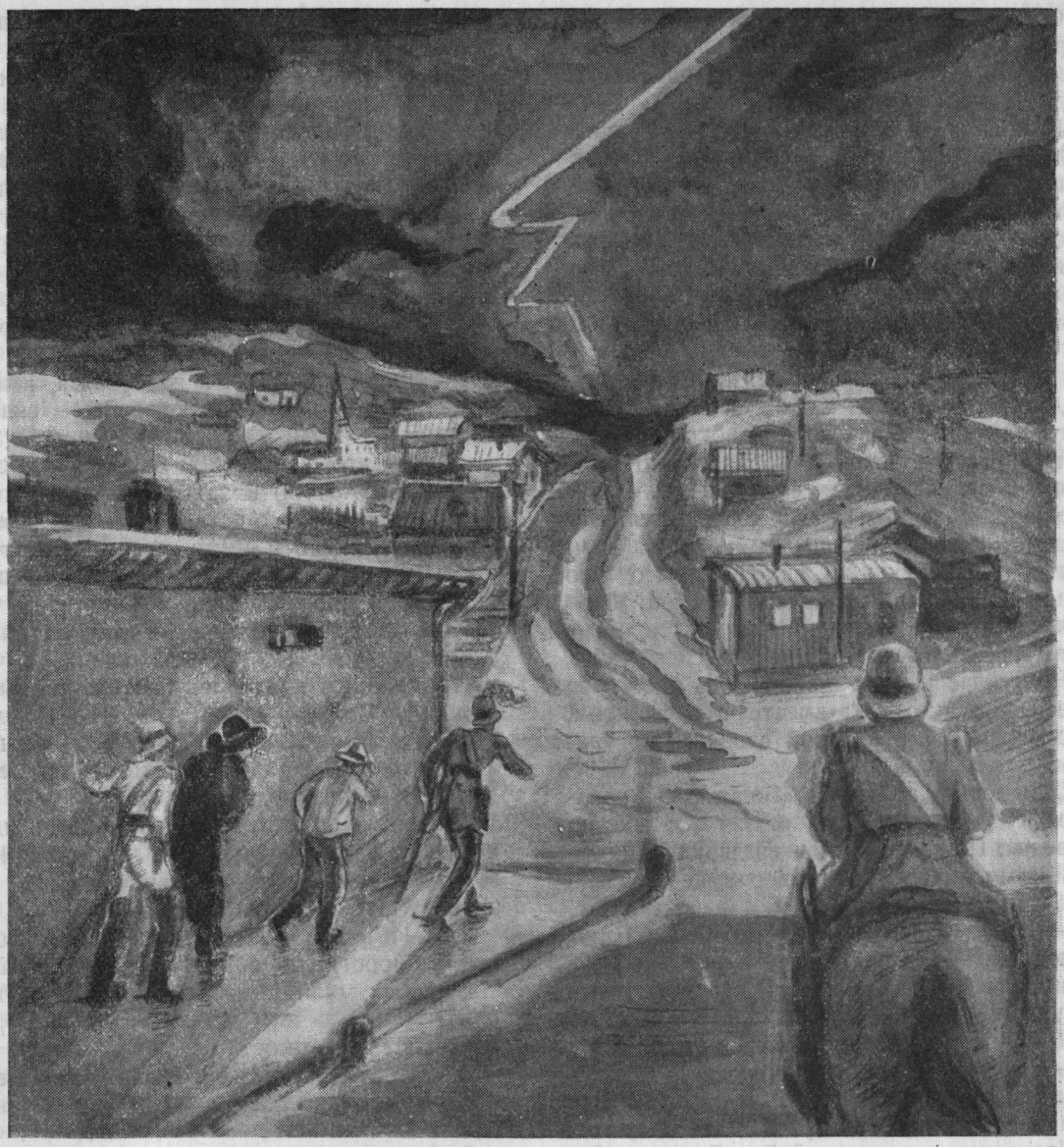
— Ботфорты, шпоры, стэк!.. — рявкнул дон Артуро.

Это означало обычно прогулку по городу. Внезапное бешенство префекта было, повидимому, связано с разбросанными по всему кабинету телеграммами и письмами. Пока Клаус пристегивал шпоры к его ботфортам, он выкрикивал отдельные фразы:

— Он хочет, чтобы я доставал для него каштаны из огня! А потом оставит меня торчать здесь, в этой трущобе! А в столице между тем рабочие вооружились! Все там шатается! Несколько солдат убито! За всем этим скрывается, конечно, рабочая организация!

Сержант Нивель и «Грифоносый» были уже готовы. Префект тяжело спустился с лестницы.

— Это—совет!—не переставал греметь дон Артуро.—Но у нас этого нет. В Атахуальпе этого нет.



Прогулка по городу началась.

Он остановился перед своим, готовым к походу штабом, состоявшим из сержанта, «Грифоносого» и Грингито.

— Здесь этого нет! — гаркнул дон Артуро своему штабу. — В Атахуальпе царит порядок!

— Так точно, господин префект! — хором ответили все трое.

Прогулка по городу началась. Впереди — префект, в двух шагах за ним — Клаус, дальше — «Грифоносый», и последним — сержант. В некотором отдалении следовал резервный патруль, состоявший из семи всадников. Однако трудно было соблюдать порядок. Порывы шторма налетали на отряд, и «штаб» со следовавшими за ним всадниками искали защиты у стен домов, вдоль которых они передвигались.

Сверкнула молния, рассекая небо на две половины. Среди бухты виднелся трехмачтовый парусник с распущенными парусами. Это был «Кап Финистерре», который лишь сейчас снялся с якоря и пытался, лавируя против ветра, вырваться в открытое море.

Обход продолжался. В Каза де Сена подверглись экспертизе вина и водки, а в заключение полетела на пол скатерть с холодными закусками и бутылками.

Компания очутилась опять на улице. Лишь шаг за шагом можно было продвигаться вперед. Каждую минуту мог налететь новый порыв ветра и засыпать лицо песком. Бурные порывы шторма сбрасывали крыши с домов, лепившихся к уступам, и слышно было, как листы оцинкованной жести со свистом проносятся в воздухе, словно зловещие птицы. Никто не задерживался в такую погоду на улице, кроме префекта, которого толкал каприз, и его несчастного «штаба». А ночью под покровом темноты, под рев ветра и моря должно было произойти народное выступление. Клаус все еще не знал, как оно совершится. Никодемо обещал сообщить ему, когда начнется, где бы он ни находился. Но что знает Никодемо? Меньше чем он! Лобо клялся, что выступление совершится, даже если Ачассо и его люди не явятся вовремя.

Но сейчас Клаусу приходилось брести за префектом, который вместе с сержантом, «Грифоносым» и охраной слонялся по улицам.

Они дошли до клуба «Боливар». Ворвались туда вихрем, причем первым вбежал Саведра. По привычке он взглянул на игорный стол, но там в этот раз нечем было поживиться.

— Почему сегодня нет игры? — разорался он. — Погода и политика, повидимому, совсем вас с ума свели, милостивые государи!

Дон Артуро уселся за конец стола.

— Во что играем? Во что здесь играют обычно? Кажется, в «трант и карант»? Где карты? Подать сюда карты!

Что оставалось делать? Дон Диэго принес карты, дон Артуро взял их, стасовал и роздал сидевшим за столом.

— Я держу банк, — об'явил он, — а вы, хозяин, позаботьтесь, чтобы у нас не пересохло горло. Этот проклятый ветер имеет свойство сжигать человека; только и остается, что все время заливать пожар.

И дон Артуро старался заливать основательно. Игра тем временем шла своим чередом, и вскоре присутствующие до того вошли в азарт, что забыли про бурю и про политику.

Дон Артуро умел занимать общество. Смеяться он умел так, что заглушал своим хохотом порывы норда, ревущего за окном. Дон Артуро заказывал одну круговую за другой. Расплачиваться?.. Ну, — это дело дона Диего...

Лица у игроков пылали. Карты летели на стол. Деньги передвигались с места на место, укладывались в кучки то перед одним, то перед другим. Особенно сиял дон Родригес: ему везло в этот вечер. Префект принес ему счастье — банкноты грудами лежали около него.

— А, Слимми! Ты тоже пожаловал сюда! — вскричал вдруг префект.

Слимми стоял в дверях. Он вошел, окутанный облаком пыли.

— Попал в смерч. Он разорвался, наверное, как раз над моей головой, — сказал Слимми.

— Вот это был меткий смерч, — проговорил дон Артуро и захохотал своим громовым хохотом, все остальные — за ним.— Что ж, подходи, Слимми, садись! Вот тебе карты!—префект подбросил ему несколько карт; игра продолжалась.

Когда дон Артуро получал деньги с партнеров, к рукам его прилипало больше, чем нужно. Лица у партнеров постепенно вытягивались. Когда же дон Альберто вздумал было спасти часть денег, сунув в бумажник, и кое-кто захотел последовать его примеру, дон Артуро рявкнул:

— Деньги остаются на столе. Здесь идет честная игра, с открытыми картами. Извольте с меня брать пример. Со мной, вы знаете, шутки плохи!

Лица игроков побледнели. Их бросало в пот от ярости, но они продолжали играть.

Вдруг глухой удар донесся со стороны бухты, вслед за ним второй. Все насторожились: «Что такое?»

— Что это там, сержант? — префект побежал, однако, сам к двери и распахнул ее.

Внизу, над бухтой, взвились ракеты: одна, другая, третья... Сигнал о бедствии с корабля!

— «Кап Финистерре», господин префект!

— «Кап Финистерре» выбросило на берег! Ну и бездельник же этот капитан! Надо, однако, помочь ему. Где наши дежурные резервы, сержант?

— Один здесь, другой внизу, в городе, третий в префектуре, господин префект.

— Это там, на Пунта де Пескас. Пошлите туда людей. Свистните Берендсу!

Сержант приложил свисток ко рту. Через несколько минут прискакал всадник. Весь растрепанный от ветра, полуслепой от песку, Берендс остановился перед префектом.

— Знаете, что случилось?

— Так точно, господин префект.

— Скачите туда. Возьмите с собой свой отряд. Сделайте все, что можно, а главное, никого не подпускайте близко. Не спускайте глаз и с полицейских. Все тут, все население — прирожденные пираты.

Берендс ускакал. Префект задумчиво посмотрел ему вслед. Он размышлял, не поскакать ли ему самому туда. Но он ожидал каждую минуту сообщения из Сан-Доминго, а это было важнее, чем несколько бочек солонины, которые могли быть выброшены на берег с такого жалкого парусника.

Ему не хотелось из-за крушения какого-то суденышка отказаться от увеселительных заведений, несмотря на шторм и на то, что эти заведения находились большей частью в узких и опасных переулках предместья. Экспедиция осторожно поднималась в верхнюю часть города, перебегая с одного скалистого уступа на другой.

По дороге им попадались дома, разрушенные за это время штормом.

Увеселительное заведение, к которому они направлялись, стояло еще на месте. Дверь изнутри была закрыта. Сержанту пришлось несколько раз сильно постучать прикладом в дверь, пока ее открыли. Зал был набит мужчинами и женщинами.

Все они пели, кричали и визжали. Здесь были мелкие торговцы, разносчики, агенты, люди, жившие случайным заработком.

Хозяйке, толстухе донье Терезе, пришлось проталкиваться сквозь толпу гостей.

Одни гости большими глотками пили дешовое вино. Другие танцовали самбакуэку—танец петухов. Две или три «курицы» кружились посредине зала: размахивали красными платками «фанданго».

Дон Артуро вошел в середину круга танцующих. Перед ним все расступились. Весь красный от водки, с длинными шпорами, пляшущий дон Артуро был необыкновенно похож на петуха. Зазвучали гитары и тамбурины, загремели барабаны и самбамбо. Стоявшие вокруг хлопали в ладоши в такт пляске.

— Самбакуэку для префекта! Вива эль префекто! — кричали гости.

Но вдруг в глазах дона Саведры потемнело. Пол под ногами зашатался, стены покосились, лампы бешено запрыгали под потолком и погасли... И вся постройка, вместе с гостями, внезапно полетела вниз с обрыва.

На обломке стены, сбитой из досок и листов жести, Клауса пронесло над крышами нижележащих домов. И если бы не песчаная полоса, на которую он упал, это путешествие могло бы кончиться печально. Но легкая платформа, за которую держался Клаус, мягко опустилась в нескольких десятках метров на песок. Клаус даже не успел испытать ощущения полета. Это произошло мгновенно. Только что он находился в доме, где танцовали и пели, а теперь сидит где-то во тьме один-одинешенек. Только ветер ревет кругом, свистит и хлопает точно бичом. В воздухе жарко, на вершинах скал светятся голубые огни. Это были огни святого Эльма — разряды наэлектризованной знойной ночи.

«Наверно, все погибли: и префект и «Грифоносый», — было первой мыслью Клауса. А потом: «А выступление, выступление! Лобо! Ачассо! Тутапа! Где она?»— и он побежал, сам не зная куда.

Вдруг он наткнулся на префекта. Он был жив и невредим... Он кричал, наклоняясь над кем-то. Это был «Грифоносый», запрятавшийся в щель между скалами. Дон Артуро схватил «Грифоносого» за ворот и пытался его вытащить.

— Вылезай из своей норы! — кричал он. — Дальше, к дону Хозе. Марш!

Внизу они натолкнулись на семерых полицейских, нашедших там убежище для себя и лошадей. Там было спокойнее, чем наверху, но было темно, хоть глаз выколи. Префект, однако, нашел способ освещать себе дорогу. Он вынул свой огромный кавалерийский пистолет и стрелял через каждые несколько шагов. Потом стал командовать шедшим позади солдатам:

— Залп! Пли!..

Дойдя до района гавани, они натолкнулись на кучку людей. Как показалось сперва Клаусу, они залегли за баррикады.

«Значит, отсюда начнется выступление!» — подумал он. Но в момент следующего залпа он увидал, что это не баррикада, а кучи обломков и листов гофрированной жести, за которыми люди спрятались от бури. Один стоял, другой сидел, некоторые лежали на песке. Он узнал среди них Линднеса. Сидевший на земле оказался стариком Мартином.

У Клауса дух захватило при виде товарища по борьбе. По его предположениям, Мартин должен был быть в это время вместе с восставшими.

Следующий залп осветил снова всю картину. Это оказался ночной бивуак бездомных моряков, клиентов Слимми, между которыми очутился и выбывший из строя ста-

рик Мартин—«старый бродяга Лата-Лата», как называл его дон Артуро.

Пистолетные залпы прекратились: подоспевший сержант пустил в ход карманный фонарик.

— Ну и рожи! — проговорил префект. — Все тюрьмы на свете выплевывают свои отбросы на наш берег! Ну, а ты что здесь делаешь, старый пес? — обратился он к Мартину.

Мартин что-то ответил, но голоса его не было слышно из-за рева бури. Клаус наклонился и подставил ухо к губам Мартина.

— У него болит грудь, и его замучил ревматизм, господин префект!—повторил он слова Мартина.

— И долго он думает еще здесь валандаться? Спроси его.

— Пока меня черти не унесут, господин префект. Ни один капитан не хочет меня брать, — ответил Мартин опять на ухо Клаусу.

Префект взглянул на согнутую фигуру старого моряка и на его лицо с ввалившимися морщинистыми щеками.

— Черти тоже тебе не порадуются, Лата-Лата. Тобой не поживишься, — сострил префект.

Мартин посмотрел мутными глазами на Клауса. В этих глазах видна была растерянность. Линднес заметил этот продолжительный взгляд, но не понял его значения. Он ничего не знал про роль Мартина и еще меньше про Клауса. Он слышал кое-что про перемену в положении мальчика, но сейчас видел его в свите начальника полиции.

— Утопить тебя надо было прежде... Вот ты куда залез, проныра, — сказал Линднес Клаусу.

— Что он говорит? Чего они хотят от тебя? — спросил дон Артуро.

— Он сказал мне «здравствуй», господин префект. Мы были вместе на одном корабле.

— А, это твои старые друзья! Что ж, зови и их с собой к дону Хозе, всю кампанию.

Префекту пришла фантазия собрать в эту ночь побольше гостей к дону Хозе. Он приказал сержанту с солдатами поднять несколько десятков рото в их конурах и пригласить в трактирию на «стаканчик». Ему хотелось проучить толстопузого шинкаря за его вечное нытье и жалобы на плохие дела.

У дона Хозе и без компании, которую привел префект, было достаточно народу. Грузчики, погонщики скота, рабочие из селитряных копей сидели за столиками. Их лачуги улетели вместе с крышами, и им не оставалось пока ничего другого, как искать пристанища у дона Хозе. Были тут и господа из клуба «Боливар». Дон Диэго, которому было не по себе в эту ночь и который опасался повторного визита префекта, запер клуб на ключ и перебрался со своими гостями к дону Хозе.

Трактир дона Хозе помещался в старом, солидно построенном доме, который стоял на крепком, скалистом массиве.

Префект уселся в почетном углу, на бочке, вместе с сержантом и толпой рото. За соседним столом сидел Клаус с моряками и остальными рото. Дон Хозе не успевал подавать; молодая девушка с кухни помогала ему обслуживать гостей. Перед доном Артуро был поставлен большой поднос с графинами вина и набором водок.

— В такой день и этакую дрянь! — заорал дон Артуро и взмахом руки сбросил все на пол. — У нас сегодня праздник! Подавай что-нибудь получше! Патрона! — повернулся он к хозяйке. — Мы пьем сегодня пунш. Все, кто здесь сидит, пьют пунш!

Хозяйка поспешила приготовить холодный пунш, смешанный из различных виноградных водок и молока. Она стояла за стойкой, мешала большой поварешкой в огромном ведре. Дон Хозе то и дело подходил, таща на коротких ногах свой толстый как бочка живот, и приносил один за другим различные сорта водок, а потом молоко.

— Дон Хозе и донна Хуана — бесподобная парочка! — крикнул префект, хлопнув себя по ляжкам. — В обоих не меньше пяти центнеров,— кто держит пари?!

Рото, сидевшие за столиками, захохотали; никто, однако, не вызвался.

— Надо поддержать пари! Артуро Саведра не говорит на ветер. Итак, я плачу круговую за каждый грамм, если окажется меньше, а за каждое кило выше дает круговую дон Хозе.

Префект ржал от удовольствия. Слова его были встречены уже заметным общим одобрением. Первая круговая обошла всех авансом. Принесли десятичные весы, и при общих возгласах дон Хозе с женой были возведены на платформу. Они весили на двадцать с половиной кило больше, это означало двадцать одну с половиной круговых для шестидесяти с лишним человек, собравшихся в трактире. Вино полилось по-

токами, стаканы то и дело опорожнялись до дна и тотчас же наполнялись. Никто не должен был платить. Дон Хозе, донна Хуана и кухонная девушка едва поспевали подавать. Пот так и струился у них по лицам. Префект взобрался на бочку и поднял кубок — в руках у него был самый большой кубок, какой оказался в трактире.

— Мы обреченные! — заорал он.

— Мы обреченные! — повторили рото.

Это был их обычный возглас при попойках. Руки с полными стаканами поднялись к закопченному потолку, стены задрожали от их громового крика.

Очистили место для танцев.

«А вечер уходит... А вечер уходит...» — стучало в голове Клауса.

Сквозь душный, пропитанный табачным дымом воздух в зале он видел, как донья Хуана ставит перед префектом новую порцию пунша. Префект встает и приглашает ее танцовать. Он кружит с этими двумя с половиной центнерами живого веса по залу, увлекая за собой других.

Все эти фигуры, скачущие вокруг, казались Клаусу призраками. Но вот рядом с ним очутился еще один призрак. Это Линднес.

— Завтра иду на пароход, — говорит он. — Ты бы тоже мог там устроиться. Им нужен еще юнга. Конечно, ты теперь занимаешь такой пост, что не польстишься на это. А если передумаешь, — стоит тебе только забежать к Слимми и подписать контракт.

И вдруг у Клауса возникает идея: встать и бежать в калабузо, освободить заключенных, поджечь префектуру и погибнуть в огне вместе с Антонио, Чиу, Патакохой — со всеми!

Эта идея оживила его. Кровь прилила снова к его лицу. Он мерил глазами расстояние до двери и искал в толпе префекта. Тот пронесся мимо него, кружась в танце с краснощекой женой какого-то грузчика. Клаус хотел обождать, пока они очутятся в дальнем углу зала, но в этот момент появились сзади две руки и обхватили его голову. Две узкие ладони, горячие как огонь, закрыли ему глаза, и когда Клаус открыл их, он увидел Тутапу.

— Ни слова! — шепнула она. — Сейчас начнется. На улице — Ачассо. Когда он войдет и ты его увидишь, не показывай вида, что знаешь его.

Жена грузчика, которую держал в об'ятиях префект, визгливо вскрикнула, остальные подхватили. В зале стоял беспорядочный шум.

— Многое произошло, но мы не могли ничего тебе сообщить, — прошептала Тутапа. — Сейчас я опять уйду. Но потом, когда начнется, я буду рядом с тобой и скажу тебе все, что ты должен делать.

Тутапа исчезла. Осмотревшись, Клаус увидал смуглое лицо Лобо и несколько других, которых он видел когда-то среди ловцов дельфинов. Было несколько человек из калабузо, которых он знал. А дверь все открывалась, входили еще и еще люди — это были незнакомые рото, которых Клаус никогда раньше не встречал. Но Ачассо среди них не было.

Музыка оборвалась. Префект остановился у стола, отпустил свою партнершу.

— Друзья мои, — голос дона Артуро стал вдруг деловитым и громким. — Я вам сообщаю известия из столицы. С восьми часов сегодняшнего вечера все рабочие организации по всей стране запрещены. К Атахуальпе это, конечно, не относится. В Атахуальпе они никогда не были разрешены. У Атахуальпы имеется свой префект, который держал город подальше от братоубийственной войны. У нас этого нет и никогда не было. Рабочим Атахуальпы ненужны организации: рабочие организованы, они представляют сплоченную нацию! У вас имеется и вождь, защищающий ваше дело.

Дон Артуро взобрался на бочку.

— У Атахуальпы есть вождь! — об'явил он. — Почему продолжают танцовать эти свиньи, когда их вождь держит речь?

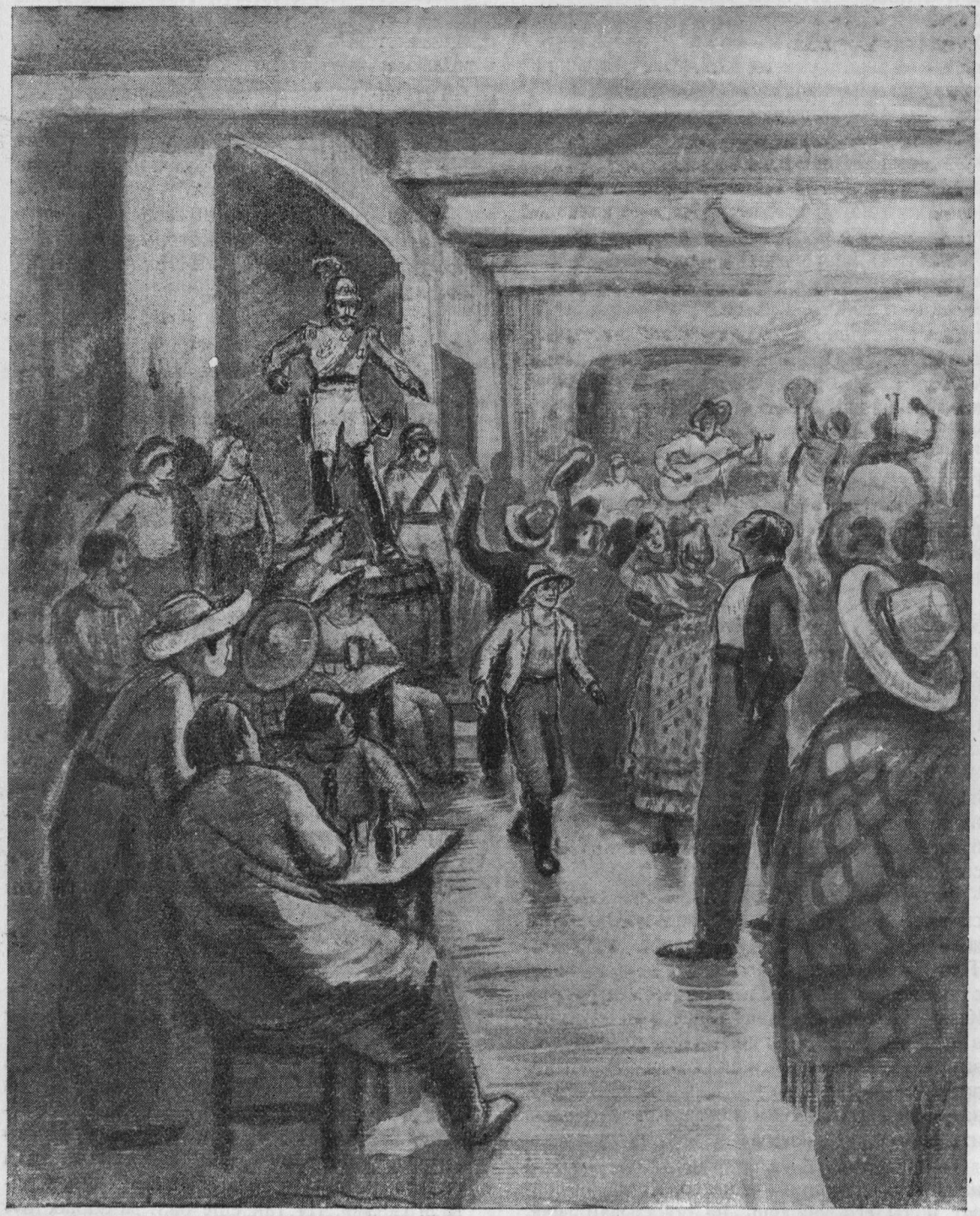
Музыка оборвалась, танцы прекратились. Дон Артуро продолжал свою речь:

— Сегодня наш праздник. Мы празднуем падение предателей и рождение национального единства в Атахуальпе. Да здравствует вождь Атахуальпы! Да здравствует дон Артуро!

Ура было жиденькое, почти все продолжали сидеть, а те немногие, что встали, сели обратно. Не поднялась ни одна рука.

— Я повторяю! — заорал дон Артуро, весь побагровев. — Но раньше я хочу вам доложить, что произошло сегодня в Вальпарайзо с красноносыми парламентскими шутами! Их расстреливали из пушек. Им на головы сбрасывали бомбы. Их подкуривали газами. Ну так еще раз: да здравствует национальное единство и вождь Атахуальпы!

Стало еще тише. Префект увидал в толпе



— Грингито! Арестуй эту дьявольскую рожу!

человека, лицо которого ему ни разу до тех пор не встречалось, по типу это был арауканец.

— Ты почему сидишь как байбак, когда подымают тост за твоего вождя?

— У меня есть другой вождь! — ответил арауканец.

Из кучки танцоров тоже стали раздаваться крики:

— Да здравствует единый фронт Чили!

Из стоявшей вдоль стены толпы раздалось:

— Да здравствует красный интернационал!

Из толпы ловцов дельфинов выступил человек, похожий на моржа, оскалил зубы и вытаращил круглые глаза на префекта.

— Сержант! — крикнул дон Артуро.

— Слушаюсь, господин префект!

— Нет, не надо...—передумал префект.— Для этакой швали не нужно сержанта. Грингито!

Клаус встал. Лицо его было бело как бумага, но на этом лице играла улыбка. Стоявший перед ним арауканец был Ачассо.

— Грингито, арестуй эту дьявольскую рожу!

Клаус не чувствовал под собой ног. Он остановился перед Ачассо. Открыл рот, но не был в состоянии произнести хоть одно слово. Ачассо нагнулся, поднял его на руки, и они смешались с толпой танцующих.

— Музыку! — раздалось со всех сторон.

— Песню селитряных рабочих! — потребовал Ачассо.

Музыка заиграла, и рото запели так, что дрогнули стены:

«Селитра —
наш хлеб и вода!
Селитра —
наша беда!
Селитру мы роем,
Мы роем,
сдираем.
Мы кожу сдираем со скал —
жесткую кожу.
Довольно!
Довольно копать нам себе же могилы!
С тобой рассчитаться скопили мы силы,
С тобой рассчитаться,
селитра!
Довольно с нас мерзкой собачьей еды,
Довольно глухой, беспросветной нужды!
Мы роем,
Копаем,
Мы кожу сдираем.
И мы подрываем,
Да, да, подрываем
Весь мир богачей.
Пусть он распадется на сотни частей!
Мы голь собираем
С горячих степей,
И пампу взрываем,
И мир подрываем —
Весь мир богачей.
Выходим походом —
Им — смерть, нам — свобода!
Нет больше цепей,
Ждет смерть палачей!»

Ачассо с Клаусом оставались в центре поющей толпы, которая не танцовала больше, а отбивала ногами такт марша.

— Слушай! — проговорил Ачассо Клаусу. — Мы все останемся здесь, пока нас не арестуют. А ты, как только я тебя отпущу, побежишь в префектуру. Прежде всего забежишь в канцелярию, перережешь там телефонный провод; потом в калабузо, раскуешь там заключенных: Чиу, Антонио, Патакоху. На дворе, за дверью, стоит Тутапа. Она пойдет с тобой, она знает все, что нужно. Сперва вам придется поторапливаться, но потом у вас будет много времени, пока мы придем.

Префект все еще стоял на бочке. Ошеломленный, смотрел он на представлявшуюся его глазам картину. Эти взволнованные лица, эта толпа, отбивающая такт возмутительной песни, а над толпой его Грингито в коротком пиджачке.

«Они все помешались! — мелькнуло в голове Саведры. — Но сумасшествие, или бунт, или то и другое вместе — это все равно!»

— Только не напирать, эй, вы! — крикнул он, приходя в себя.

Колебания префекта длились лишь до тех пор, пока сержант не пробрался к двери и не приложил ко рту свистка. Тогда префект вынул из кобуры пистолет. Его подтолкнули под руку — и все пули попали в потолок. Толпа наседала. Бочка опрокинулась, и префект упал на пол. Кое-кто из рото помог, однако, ему встать; кто-то даже стряхнул пыль с его мундира.

Поднявшись, дон Артуро почувствовал себя опять хозяином положения.

— Тише, чорт вас возьми! Вы все арестованы! — крикнул он повелительным тоном.

Пение, однако, продолжалось, стало даже еще громче. Префект стал оглядываться

Клаус вскочил, Тутапа села позади.

кругом, ища прохода к двери. Но проход был загорожен. Вскоре сержант показался в дверях вместе с полицейскими. Их было семь человек. Сейчас должны подоспеть остальные. Но много ли этих остальных?

«Без часового и телеграфиста их всего пять человек! — вспомнил дон Артуро. — Ведь третий резервный отряд он имел глупость отправить на помощь этому бездельнику капитану!»

Ачассо спустил Клауса на пол:

— Теперь беги черным ходом!.. Там, на заднем дворе, Тутапа!

«Семь человек да еще пять — всего двенадцать!» — подсчитывал в уме префект. — «Не густо, чорт возьми».

Новый голос, однако, привел его снова в недоумение. Кто-то крикнул:

— Тише, чорт возьми! Ведь префект сказал ясно: мы арестованы. Неужели это вам не понятно?

Музыка замолкла. Постепенно воцарилась тишина.

«Каналья неглуп», — подумал про себя префект.

— Мы арестованы — не может же дальше так продолжаться. Надо положить когда-нибудь этому конец! — гаркнул на весь зал тот же человек.

Префект оправился от растерянности.

— Кто не будет повиноваться, получит пулю в лоб! — крикнул он. — Сержант!

— Слушаюсь, господин префект!

— Встаньте у черного хода и никого не выпускайте. Ну, а теперь — поодиночке вперед!

Все совершалось в полном порядке. Сержант без труда пробрался к черному ходу. Префект встал у выхода на улицу. Все поодиночке, как он требовал, подходили к двери. Префект был очень доволен. Без полицейских сил, одним своим авторитетом он поставил на место эту публику. Когда они будут лежать в калабузо, он заговорит с ними по-другому: кой-кому придется встать к стенке, ничего не попишешь!

Присутствовавшая в трактире буржуазная публика тоже выстроилась у двери. Слимми был между ними.

— Испарись! — сказал ему префект.

К дону Эмилио он обратился иначе:

— Видно, видно, в каком обществе вы вращаетесь!

Тем не менее дону Эмилио и остальным буржуа было тоже дозволено уйти. Всех остальных заставили выстроиться в колонну. Их повели под жидким конвоем с обеих сторон. Вызванный из префектуры резерв привел лошадей для префекта и сержанта. Дон Артуро вскочил на своего жеребца, и колонна тронулась. Двое полицейских ехали верхом впереди, остальные — по сторонам; префект и сержант Нивель ехали сзади колонны. Один из полицейских резерва шел пешком.

Дон Артуро спросил, куда он дел свою лошадь.

— Пропала, господин префект!

— Как это так «пропала»?

— Когда нас позвали, господин префект, я привязал ее позади дома, а потом она куда-то исчезла.

Один из полицейских, прибывших позднее, раз'яснил, в чем дело:

— Ее взял Грингито, господин префект: он торопился в калабузо, чтоб освободить места для новых заключенных!

— Вот молодчина! — похвалил префект.

Развязка

Клаус проскользнул к черному ходу дома дона Хозе. Эта сторона дома была обращена к морю. На минуту тьма ослепила его. Не переставший бушевать норд не давал ему вздохнуть. Семь лошадей стояло там на ветру, связанные поводьями.

Сейчас же, точно отделившись от стены, очутилась перед ним Тутапа.

— Лошади... — сказал Клаус. — Возьмем одну...

Они отвязали одну из лошадей. Клаус вскочил, Тутапа села позади. Животное, которому хотелось поскорее попасть к себе в конюшню из этого ада, поскакало во весь опор.

Они прискакали к префектуре как раз в тот момент, когда тяжелые ворота широко открылись. Боязливо фыркающие конские морды пронеслись навстречу им под громкие понукания и подхлестывания всадников. Их было пятеро. Клаус крикнул им:

— А я в калабузо, освободить места!

Всадники ускакали. В'езжая в ворота, Клаус обернулся и крикнул часовому:

— У девчонки важные новости для господина префекта!

Часовой закрыл за ними ворота, а сам остался на улице.

Теперь они были одни во дворе. В префектуре виднелось только одно освещенное окно. Они спрыгнули с лошади и пустили ее куда глаза глядят. Тутапа была смелой девочкой: она проплыла, как узнал потом Клаус, все огромное расстояние до Вальпарайзо, чтобы застать там Ачассо. Но это мрачное здание, таившее в себе столько ужасов, навевало на нее страх. Она невольно прижала руки к сердцу. Впрочем, это длилось лишь несколько мгновений. Тотчас же она наклонилась к уху Клауса.

— Что это за окно? — прошептала она.

— Там сидит телеграфист! — ответил он тоже шопотом.

— Это уж потом, — сказала Тутапа. — Нам надо действовать по порядку. Ачассо все мне подробно рассказал. Прежде всего — заключенные.

Клаусу пришлось взять ее за руку. Они прошли второй небольшой двор и очутились перед калабузо. Клаус достал из кармана ключ, который хранился у него уже давно. Подошел с ним к какому-то ящику. Щелкнул замок, и в руках его очутилась большая связка ключей. Несколько из них он дал Тутапе. Клаус провел ее через какой-то длинный коридор, и они очутились в калабузо. Отблеск клокочущего моря наполнял калабузо бледным, рассеянным светом.

— Здесь лежит Антонио!—сказал Клаус.

Лицо Тутапы сначало посерело, потом просияло. Однако она заставила замолчать свое сердце и проговорила, как ей было наказано:

— Патакоха — второй, Чиу — третий, а потом четверо из матросов.

Только после этого она опустилась на колени над Антонио. Патакоха, Чиу и четверо матросов были немедленно освобождены. Тутапа опять заговорила:

— Семеро уже свободны. Пусть каждый освободит еще по одному. Времени у нас хватит. Надо все сделать точно по плану!

Первый пункт программы был выполнен.

— Так вот, — продолжала она, — Патакоха знает все, что надо сделать в калабузо. А дедушка и Пингвин возьмут на себя склад оружия. Но сначала Чиу и четверо матросов должны пойти с нами.

Они направились в комнату, где был телеграф. Там был только один человек, да и тот крепко спал.

Потом Клаус открыл склад, где хранилось оружие. Перерезал в канцелярии и в кабинете префекта телефонные провода, запер за собой квартиру префекта и повесил ключ на место.

Таким образом Клаус и Тутапа выполнили почти все свои задания. Оставалось еще одно — арестовать префекта.

В коридоре, где Клаус прожил так долго, он остановился с Тутапой у окна. Оба смотрели в клокочущую, клубящуюся ночь. Им показалось, будто воздух и волны окрасились чуть светлее. Повидимому, какая-то щель разверзлась в тучах, несущихся над Атахуальпой, и через нее проглядывал день. Ураган длился уже восемнадцать часов.

— Это глаз бури. Иногда его можно видеть, — промолвила Тутапа.

Это было все, что они сказали друг другу. Их сердца были слишком переполнены. Это она сказала только для того, чтобы утишить тревогу, поднявшуюся в ней перед самым тяжелым, решающим моментом.

Они ожидали прибытия конвоя с арестованными. Им недолго пришлось ждать. Покрытые песком, в измокшей одежде, арестованные широким потоком стали вливаться в ворота префектуры. Их было две колонны. В первой Клаус узнал Лобо и ловцов дельфинов. За ней прошла и вторая колонна. Шествие замыкал префект на своем жеребце.

Пришла пора действовать. Клаус и Тутапа шмыгнули на свои места. Клаус спрятался в нишу, Тутапа — за занавес одного из окон.

Если бы Клаус потерпел неудачу, она должна была бы дать знать Чиу и четырем матросам, спрятавшимся на лестнице выше. Но все шло как по-писаному. Префект направился в канцелярию и взял было в руки телефонную трубку. Затем шумно поднялся по лестнице наверх. Идя по коридору, он пошатывался и, дойдя до своей двери, не сразу попал ключом в замочную скважину. Все-таки в конце концов открыл. Ключ он оставил снаружи, дверь — открытой настежь. Ему надо было пройти в прихожую и потом еще шесть шагов до телефона. Этим временем должен был воспользоваться Клаус. Момент был очень острый. Клаус захлопнул дверь и быстро повернул ключ. Тотчас же изнутри префект нажал ручку и стал трясти дверь.

Тутапа покинула свое убежище и стояла рядом с Клаусом, бледная, с плотно сжатыми губами. Префект что-то рокотал своим громовым голосом. Он побежал обратно в комнату, быстро выдвинул один из ящиков письменного стола с такой яростью, что тот с треском упал на пол. Затем снова подбежал к двери. Раздался громкий треск: дон Артуро сделал несколько выстрелов один за другим, но пули застряли в толстых досках двери. Двери его квартиры были самые крепкие во всем доме.

Клаусу надо было еще вынуть ключ из замка. Ответом на это было еще несколько выстрелов и поток крепких ругательств.

Вдруг кто-то подошел сзади. Это был «Грифоносый». Тутапа, покинувшая свою позицию, не могла уже предупредить Чиу. То, что она слишком рано покинула свое убежище, было единственным ее промахом и чуть было не вызвало беды. Но Чиу внимательно следил за всем, и в тот момент, когда «Грифоносый» подошел к двери, где

стояли Клаус и Тутапа, он оказался со своими матросами там же. Достаточно было одного матроса, чтоб убрать «Грифоносого» прочь. Остальные расположились в разных местах по лестнице.

Что же тем временем происходило во дворе?

Арестованных погнали на задний двор. Они стояли уже перед самым калабузо.

Дело начало принимать серьезный оборот. Один из полицейских вернулся из коридора и заявил:

— Фонарей нет!

Что фонари не горят, — в этом не было ничего удивительного: их зажигали вообще лишь в редких случаях, а в эту ночь ветер все равно задул бы их, — но их вообще не было — это могло быть подозрительным. Однако на это никто не обратил внимания. Сержанта поразило нечто другое, что следовало отнести уже на счет рассеянности Клауса.

— Пропали ключи! — заметил сержант. Он повернулся и с минуту стоял в размышлении. — Наверно, лейтенант опять куда-нибудь сунул, — ворчал он.

Один из полицейских побежал в отдельную камеру. Вернулся оттуда со связкой ключей, но не с той, которую искали, а с другой, поменьше.

Сержант роздал ключи и велел начинать. Четыре пары полицейских повели четырех арестованных. По одному арестованному было у каждой пары. Для охраны остальных остались сержант и четверо солдат. Как только первая партия дошла до входа в калабузо, все семь полицейских мгновенно очутились на земле.

Не прошло минуты, как все восемь лежали прикованные к брусу. Ни один из них не успел даже крикнуть. Впрочем, из-за рева волн крики их и не могли бы быть услышаны. Это стремительное нападение на конвойных было заранее организовано Патакохой.

Сержант выходил из терпения. Ленивые черти! Сколько же времени они там будут возиться! Он подождал еще с полминуты, потом послал одного из оставшихся полицейских в калабузо:

— Поди посмотри, почему они там так долго возятся?

Солдат едва успел ступить в темный коридор, как вскрикнул:

— Сержант!

Сержант побежал вперед. Остановился у двери. Со стороны канцелярии и квартиры Саведры послышались выстрелы.

— Лобо! — крикнул Ачассо.

Лобо собрал вокруг себя свой отряд и бросился со своими людьми через двор к канцелярии. В это же время Ачассо с помощью других одолел сержанта и оставшихся еще на свободе полицейских. Их тоже приковали к брусу.

Лобо привел «Грифоносого», которого передали ему матросы. Освобожденные и освободители крепко обнялись.

Тем временем произошло следующее. «Грифоносый», пред тем как подняться наверх, когда раздались выстрелы префекта, подал сигнал стоявшему перед домом часовому. Но нерасторопный часовой подошел лишь за тем, чтоб увидеть, как «Грифоносого» уводят и как его товарищи, один за другим, попадают в плен.

Часовой вскочил на лошадь и поскакал, чтобы призвать на помощь пикет, отправленный на помощь погибающему судну. Ему пришлось проскакать мимо трактира дона Хозе, куда вернулась часть посетителей. В кратких словах он сообщил о происшедшем. Часть из них бросилась к префектуре. Остальные дали знать своим друзьям. Скоро оглушительная новость разнеслась по всему городу. Перед калабузо не улеглась еще буря восторга, как со всех сторон города к префектуре стали стекаться толпы жителей.

А в префектуре в это время все шло по намеченному плану. Пока освобожденные стали организовываться в дружины, Ачассо поднялся в верхний этаж, где находился префект.

— Ну-ка, как у вас тут дела? — спросил он.

Клаус и Тутапа заторопились с отчетом, перебивая друг друга:

— Он стрелял!

— Все патроны расстрелял, больше у него нет!

— Потом слышно было, как стол грохнулся.

— Потом он зеркало разбил!

— Всю мебель переломал!

— Звал сержанта.

— И Клауса!

— И ругался!

— Да еще какими словами!

— Охрип от крика!

— Теперь только отдувается!

— Вот что, оставайтесь пока здесь на всякий случай. Если будет какая-нибудь пе-

ремена, дайте мне знать. Я скоро вернусь.

Он спустился обратно вниз. Они снова остались одни, и слышно было лишь, как бушует вокруг дома шторм и хлопают листы жести на крыше. Время от времени из кабинета арестованного префекта доносился шорох.

Немного спустя поднялся наверх Лобо.

— Где он тут у вас? — спросил он.

— Там, за этой дверью.

Лобо подошел к двери. Клаус, Тутапа и Чиу пошли за ним. Матросы остались на своем посту, на лестнице. Лобо постучался.

— Входи, негодяй! — послышалось из кабинета.

— Так ничего не выйдет, префект!

— А что должно выйти? Чорт бы вас всех побрал!

Префект был вне себя. При последних словах голос у него сорвался. Ему пришлось отдышаться, прежде чем он мог продолжать.

— Позовите сержанта!

— Он не может придти, префект!

— Что значит «не может»? Тогда пусть придет «Грифоносый». Да поживей!

— Он тоже не может, префект!

— Да что здесь, наконец, творится?

— Ничего особенного. Все на своих местах, префект.

— Кто на местах?

— Заключенные на свободе, а полиция в калабузо, префект!

— У тебя что, мозги размякли?

— Нет, это видно у тебя размякли, префект. Сейчас ты это сам почувствуешь.

Лобо, Чиу, Тутапа и Клаус слышали, как грузный префект пыхтел за дверьми, он задыхался. Порыв ветра пронесся над домом, сотрясая листы оцинкованной жести на крыше. Но вместе с завыванием шторма слышались еще какие-то звуки. Когда порыв вихря пронесся, звуки эти стали слышнее.

Они доносились из первого двора, где толпился народ. Префект не стоял уже за дверью. Он бросился, чтоб открыть окно. Он распахнул его и крикнул что-то толпе. Трудно было разобрать, что он кричит.

— Дай сюда ключ, Клаус! — сказал Лобо.

— Я могу отдать ключ только Ачассо! — в замешательстве произнес Клаус.

Лобо открыл окно из сеней, выходившее тоже на первый двор. Внизу стояла толпа, голова к голове. В полутора метрах от Лобо торчала голова префекта, перегнувшегося через подоконник.

— Вот он, этот дьявол! — кричал он вниз. — Вот он. Это он, пусти ему пулю в лоб, Слимми! А потом там, возле караульной, есть лестница. Подставь ее к окну!

Лобо поспешил убрать свою голову. Чиу подозвал матросов.

— Дай ключ, Клаус!

Клаус больше не медлил. Он сунул ключ в замок, повернул его, дверь распахнулась. Чиу с матросами вошли в кабинет и схватили префекта, который сидел уже на подоконнике. Они собирались связать его, когда в кабинет вошел Ачассо.

В тот же момент послышался стук лестницы, приставляемой к карнизу. Ачассо бросился к окну. Он сразу узнал неуклюжую фигуру, стоящую на ступеньке лестницы.

— Слимми! — воскликнул Ачассо. — Еще ступеньку — и получишь пулю в лоб!

Слимми предусмотрительно, ступенька за ступенькой, пополз обратно вниз.

— Лестницу прочь!

Несколько освобожденных активистов пампы, посланных сюда, чтоб разведать настроение толпы, убрали лестницу. Другие поспешили в город, чтоб поднять рабочих и безработных Атахуальпы.

Ачассо не отходил от окна.

— Рабочие и граждане Атахуальпы! — обратился он к толпе. — Прошу сохранять спокойствие. Через несколько минут вы узнаете все и узнаете наше решение.

Толпа, желавшая прежде всего понять, в чем дело, успокоилась. Ачассо послал в канцелярию Клауса и Тутапу с одним товарищем, который служил радиотелеграфистом во флоте. Он должен был расшифровать новые ленты телеграмм.

Кроме охраны в кабинете остались Чиу, Антонио, Патакоха, Лобо и Ачассо. Все пятеро стояли. Саведра сидел перед ними в кресле.

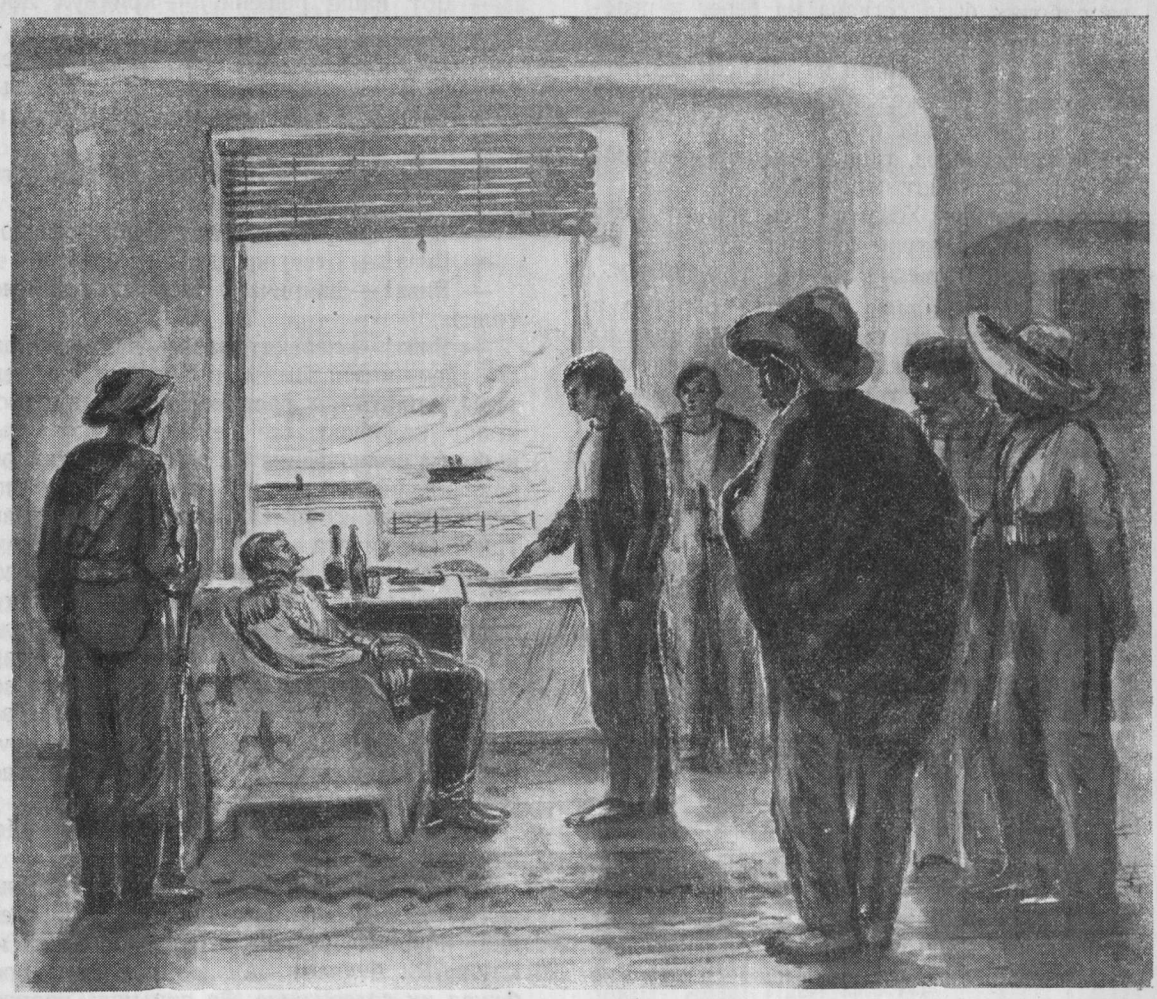
— Артуро Саведра! — начал Ачассо.

Префект поднял голову. Он проглотил ругательство, которое готово было у него сорваться.

— Мы должны совершить правосудие, — продолжал Ачассо.

Несмотря на то что префект выпил в этот вечер бесконечное количество пунша, он ясно видел, что имеет дело не с призраками пьяного воображения, а с живыми людьми. Все они вторглись к нему в кабинет — это не подлежит сомнению.

«Это Ачассо... Тот самый, которому этот



— Артуро Саведра, — начал Ачассо, — мы должны совершить правосудие.

ротозей дал улизнуть. Тот самый, что заколол Алоизиуса».

Префект дернулся в кресле.

— Ты разбойник! — крикнул он Ачассо.

Ачассо ответил ровным, бесстрастным голосом:

— Целой ночи не хватило бы, чтобы перечислить все грабежи, насилия и убийства префекта Атахуальпы, бывшего члена военного совета — Артуро Саведры. Начнем со следующего: внизу, в канцелярии, лежит лист бумаги. На нем выписаны фамилии сорока двух человек: двух рыбаков и сорока рабочих с селитряных рудников. Сегодня утром они должны были быть расстреляны. Эти люди здесь, они обвиняют вас, Артуро Саведра, в покушении на массовое убийство. Дальше. В сентябре прошлого года в Кокимбо было подавлено восстание флотского экипажа. Эти люди требовали справедливости для себя и для всего народа. Число жертв, которых следует отнести на счет Артуро Саведры, не было подсчитано.

— Продолжайте, продолжайте! — пробурчал Саведра.

— Вот жертвы последнего года: Альто де Сан-Антонио — двести убитых; Оффицина Артуро Прат — шестьдесят два убитых; Санта Катарина — восемьдесят пять убитых; Альто ла Марла Пьедра, Буэнвьенто, Сан-Доминго, Ла Паланка, Лоа — повсюду убитые... И еще один случай: был крейсер — броненосный крейсер «Серро де Лимонверде». Это было в 1925 году в Иквике. Тыся-

ча рабочих была согнана на берег и перевезена на борт крейсера. Один из членов военного совета явился на крейсер и отдал приказ принести железную цепь... Отдавший этот приказ были вы, Артуро Саведра, а один из матросов, тащивших цепь,—матрос 1925 года — стоит перед вами...

— Довольно! Хватит! Что вам от меня нужно?—дон Артуро вскочил с места.—Довольно этой комедии! Я приказываю вам...

Матросы посадили префекта обратно в кресло; руки его были крепко скручены этими проклятыми, веревочными петлями. Не досказав начатой фразы, он заговорил другим тоном.

— Давай поговорим друг с другом как мужчины. Подумаем вместе, что надо сделать, — обратился он к Ачассо. — Вон там, в столе, ящик, выдвинь его. Там лежит трубка, две трубки и табак «Виргиния». Я думаю, ты в этом знаешь толк. А Грингито — куда спрятался этот чертенок? — взболтает нам чудесный коктейль.

— Вам осталось жить еще минуту, префект! — Ачассо держал в руках часы. — Точнее, пятьдесят пять секунд, — прибавил он. — Таково решение революционного суда.

Пятеро стоявших в кабинете молчали. Саведра дышал все чаще и громче. Наконец, он не мог больше выдержать и вскочил. И вдруг он громко захохотал. Этот хохот прокатился через окно над головами толпы. Толпа заволновалась, послышались громкие голоса:

— Они пьянствуют там наверху! Издеваются над нами!

— Дон Артуро рассказывает анекдоты! — послышался голос Слимми.

Дон Артуро продолжал хохотать. Его смех подействовал заразительно. Толпа на дворе тоже начала смеяться.

Потом снова раздались возгласы:

— Довольно! Говорите, в чем дело? И какое там у вас решение?

Поднялся свист.

— Мы идем наверх,— пригрозил Слимми.

Ачассо поднял часы.

— Чиу! — сказал он. Лицо его было бледно.

В тот же момент раздался выстрел, за ним второй. Артуро Саведра грохнулся на пол, увлекая за собой кресло.

Лобо вложил дымящийся пистолет в кобуру.

— Вот наше решение! — крикнул Лобо в окно.

Толпа притихла и с минуту стояла безмолвно. Зардевшийся над морем оранжевый свет просочился в глубь двора и лег на лица.

Возглас одного из рабочих прервал тишину. Это был лишь первый сигнал:

— Да здравствует Республика советов!

— Вива! — ответила дюжина голосов.

— Вива! — закричала вся собравшаяся толпа.

— Вива! — перекатывалось в третий раз по всем комнатам и коридорам префектуры, вплоть до расположенного в самом конце калабузо, где лежали прикованные к брусу полицейские. В разных местах образовывались кучки. В одном углу группа безработных собралась вокруг представителей комитета безработных. Патакоха тоже вышел во двор и собрал вокруг себя рабочих союза селитряников. Дон Родригес и дон Диего собрали членов клуба «Боливар», а дон Эмилио — членов клуба квартиронанимателей. В руках у него была записная книжка, в которой он что-то записывал. Слимми забрался на деревянную кобылу и держал свой котелок в руке, размахивая им как флагом.

— Дон Педро! — звал он к себе. — Дон Эмилио! Дон Эрнесто!

Ачассо велел принести расшифрованные ленты телеграмм, поступившие за последнюю ночь. Клаус уже успел переписать их крупными буквами. Ачассо присел и пробежал их содержание. За эту ночь произошли катастрофические события.

— Получилась еще телеграмма из Сан-Доминго, — заявил телеграфист. — Начальник экспедиционного отряда сообщает, что он никого не нашел в Сан-Доминго, и просит дать распоряжения. Я ответил, чтобы отряд оставался в боевой готовности до нового приказа.

Кабинет постепенно наполнялся людьми. Патакоха вернулся со двора; с ним вместе явилась целая группа делегатов: дон Родриго и члены комитета безработных, дон Эмилио, дон Эрнесто, дон Педро, Слимми. Германский вицеконсул дон Рудольфо был, как ни странно, тоже в числе вошедших. Явился также толстяк дон Хозе, а из-за его спины скромно выплыла белокурая Милли.

Они явились, чтобы тут же организовать «Совет Атахуальпы». Дон Эмилио уже четырнадцать дней носил в кармане полномочия союза квартиронанимателей

Дон Родриго имел мандат от торговцев с'естными припасами. Дон Эрнесто представлял средних и низших служащих. Дон Педро — рыбную и рыбно-жировую промышленность. Слимми был председателем союза бродячих кустарей и мелких промышленников Атахуальпы и ее окрестностей.

Взгляд Ачассо остановился на Милли, на ее больших и на этот раз таких кротких глазах.

— Я представляю интернациональный пролетариат моряков, а также и безработный пролетариат! — продекламировала она.

— Как? И вы тоже чей-нибудь представитель? — спросил Ачассо германского вицеконсула дона Рудольфо. У вицеконсула появилась строгая складка на лбу:

— Я явился, чтобы выяснить дело об аварии германского корабля «Кап Финистерре» и задокументировать связь этой аварии со смертью только что погибшего господина полицейпрезидента дона Артуро Саведры. Я прошу о составлении протокола по этому делу. У меня имеются свидетели.

— К делу! — крикнул Слимми и опустился всем своим грузным корпусом в кресло, стоящее у стола. Он снял с головы котелок и разложил перед собой несколько исписанных листков из записной книжки. Он громко откашлялся. Воцарилась тишина.

Вицеконсул осмелился еще раз выступить с заявлением:

— Я вынужден все же просить...

Ему зашикали.

— Я полагаю, что здесь вряд ли сможет сорганизоваться совет, — заявил Ачассо. — Во всяком случае, не теперь. Перед тем как вы приступите к своим делам, разрешите мне зачитать вам кое-что.

Ачассо повернулся спиной к присутствующим и подошел к окну:

— Товарищи рабочие и безработные Атахуальпы! Наша страна переживает тяжелое время. Сейчас время не для речей, а для быстрых действий. Тринадцать дней назад в Сант-Яго и в Вальпарайзо была провозглашена Советская республика. Эта Советская республика перестала существовать. Ее больше нет.

Среди собравшихся в кабинете поднялось сдержанное движение. Дон Эрнесто подхватил соскочившее у него с носа пенсне и крепко посадил его обратно. Слимми выдернул исписанные листки из-за ленты котелка, заткнул их в жилетный карман и с треском нахлобучил котелок на затылок.

— Я зачитаю телеграмму, поступившую несколько часов назад, — продолжал Ачассо. — Семнадцатого июня началась бомбардировка города Вальпарайзо. В ней приняло участие высшее морское командование. Часть сухопутных и морских сил под командованием генерала Морино и адмирала Жуара после непродолжительного уличного боя взяла в плен правительство и установила военную хунту во главе с вышеназванными генералами. Эта хунта передала немедленно свои полномочия временному правительству с Давилой во главе. И еще телеграмма: «Движением руководит адмирал Жуар, главнокомандующий чилийским флотом, совместно с генералом Ибаньесом и президентом Монтерро. Грове, Матте и другие министры арестованы».

— Хорошенькая компания, можно сказать! — воскликнула Милли.

Она вскочила и плотнее стянула перекинутую через плечо шаль. Остальные тоже повставали с мест. Слимми держался уже за ручку двери.

Ачассо продолжал:

«Произошли кровавые столкновения с жандармерией; сотни убитых. Советы и рабочие организации распущены; газеты конфискованы».

Из коридора через открытую дверь донесся громкий голос Слимми, уже успевшего улизнуть:

— Линднес, через два часа отходит пароход! Айда! Идем вместе.

— При таких обстоятельствах мне вряд ли есть смысл здесь оставаться! — заявил вицеконсул и вышел вслед за Слимми. Все собравшиеся на заседание бросились к выходу. В дверях стало тесно, возникла давка.

Ачассо обратился к Чиу:

— Чиу, позаботься, чтобы эти господа кратчайшим путем очутились на улице, выпусти всех, кто желает следовать за ними, а потом закрой ворота!

Из окна, перед которым стоял Ачассо, виден был весь двор. Компания из кабинета спустилась вниз и протискивалась сквозь все еще густую толпу. Слимми шел впереди. За его широкой спиной семенил маленький дон Рудольфо.

Ачассо выждал, пока последние вышли во двор. Тогда он крикнул:

— Рабочие и безработные Атахуальпы!

— Я прервал чтение телеграммы, так как здесь, наверху, произошло некоторое заме-

шательство. Эти господа, с такой поспешностью пробивающие себе дорогу на улицу, всего несколько минут назад явились сюда, чтобы сорганизовать совет. Присмотритесь к ним и запомните их. Среди них дон Альфонсо, дон Эмилио, дон Родригес и прочие, жившие до сих пор тем, что обвешивали и обмеривали вас. Среди них имеется один адвокат, сделавший из вашей жилищной нужды для себя карьеру. Вот мадам, которая до сих пор жила исключительно эксплоатацией безработных моряков. Она отрекомендовалась, по ее собственным словам, «представительницей интернационального пролетариата моряков и безработного пролетариата».

Толпа во дворе заволновалась. Слимми и следовавшую за ним кучку теснили со всех сторон.

— Я тебе повыбью клыки! — орал Слимми.

— Бей его! Сшиби ему котелок с головы! Дерзить еще будет проклятая акула! — наседали со всех сторон на Слимми.

— А вот и она — интернациональная мадам Милли, рыжевосолый дьявол! Попробуй-ка дерни, крепко ли сидит на ней парик!

— Дайте им пройти! — крикнул Ачассо. — Освободите им дорогу. Пускай убираются, чем скорей, тем лучше. Нам надо обсудить важные дела, а времени мало.

Во дворе все успокоилось.

Милли на прощанье крикнула толпе:

— Ребята, не волнуйтесь, уберите пальцы от этих горячих делишек! Ступайте лучше ко мне. Откупорим новую бочку пива; чем закусить, тоже найдется...

— Кто еще хочет уходить, — крикнул Ачассо, — пусть поторапливается: дверь еще открыта. Через минуту она закроется!

В толпе произошло движение. Сначала одиночки, капля за каплей, нерешительно отделялись от общей массы, потом потекли на улицы целые ручейки. Когда Чиу захлопнул дверь за последними, толпа во дворе уменьшилась до одной трети.

— Из тех, что ушли сейчас последними, — обратился Ачассо к оставшимся, — многие еще вернутся к нам. Они будут на нашей стороне, если мы будем бороться успешно. Мы должны принять бой, как это сделали рабочие в Вальпарайзо, в Сант-Яго, в Раконкагуа и по всей стране. Это видно из остальных телеграмм, которых я не успел еще вам прочитать.

И Ачассо прочитал эти телеграммы.

При упоминании о каждом новом столкновении, новом городе, где рабочие восстали против Давилы, Ачассо прерывали возгласы одобрения.

Затем Ачассо подвел итог всем этим новостям:

— Советская республика, провозглашенная в Сант-Яго, больше не существует. Советская республика пала. Разрешите, однако, привести вам пример из истории великого народа, который уже полтора десятка лет держит победу в своих руках. Там тоже не сразу возник победоносный Октябрь!

Только единым фронтом трудящихся, под единым руководством можем мы противостать врагу. В ближайшие дни в бухту Атахуальпы, несомненно, войдут военные суда. Они высадят на берег десанты. Но мы готовы встретить суда и солдат и всю военную мощь Давилы, мы нападем на нее и прямо, и с флангов, и с тыла. Мы встретим поддержку в рядах наших одетых в мундиры братьев. Над нами развевается красное знамя — символ освобождения человечества, это знамя развевается уже несокрушимо на далеком Севере, на другом полушарии, над территорией, заселенной ста восемьюдесятью с лишним народностями. На нашем знамени — несущая народам свободу идея социализма, которой принадлежат нынешний день и будущее. А в тылу у себя мы имеем в чилийской селитряной пампе пролетарскую революционную все растущую базу. У нас есть чем встретить Давилу!

Не успели еще улечься возгласы и крики «ура», как Ачассо перешел уже к обсуждению плана дальнейших действий.

— Необходимо немедленно отправить несколько отрядов в окрестные оффицины, чтобы поднять на ноги людей, — сказал Патакоха. — К полудню мы сможем тогда об'явить всеобщую забастовку по всему району. Возражений нет? Итак, сегодня, в полдень, — забастовка!

Патакоха подошел к окну.

— Товарищи, мы начинаем забастовку,— сказал он. — Сегодня, в полдень, должна остановиться железная дорога. До того должен отправиться отряд в Артуро Прат. Кроме того надо еще сделать кое-что. Подробности я не могу вам кричать в окно. Я и еще несколько человек спустимся сейчас к вам.

Это было все.

Одна из упомянутых Патакохой задач касалась Берендса. Те, кто побывал раньше в калабузо, настаивали, чтобы поскорее

прикончить «гринго-лейтенанта». Чиу отправился с отрядом матросов на Пунта, но еще не вернулся.

Патакоха и активисты из пампы спустились во двор. Они разделили толпу на отряды.

Ачассо просмотрел несколько набросанных Чиу проектов летучек, с которыми предполагалось обратиться к солдатам флота и армии и которые надо было сейчас же отослать в типографию.

В погоде произошел неожиданный перелом, и ветер над морем затих. Вздутые огромные волны катились еще, но сила ветра не подталкивала их больше. Тот же сочащийся снизу свет, который час назад ложился полосой на волны, поднялся выше, пронизывая теперь туман, окрашивая желтыми и ржаво-красными пятнами уносимые нордом облака. Суда, день назад бежавшие в открытое море, возвращались уже назад и видны были на горизонте. Какой-то каботажный пароход подошел уже к месту стоянки, другой тоже уж подходил. Хмурый свет лежал над бухтой и над городом. В трех, расположенных амфиладой комнатах префекта не становилось светлее.

Кто-то постучался в дверь. Это была легкая, детская рука. Тутапа просунула голову.

— Он совсем один, — сказала она через плечо в коридор. — Можно нам войти, Ачассо?

Клаус был рядом с ней. Они вошли и сели против Ачассо на подоконник. На Клаусе не было уже его шутовского пиджачка, панама тоже исчезла. Он был одет в матросскую блузу и бескозырку. Ачассо до сих пор едва имел возможность присмотреться к нему. Клаус не только вырос и похудел: нет, Ачассо видел перед собой совсем другое лицо. Это был какой-то другой Клаус.

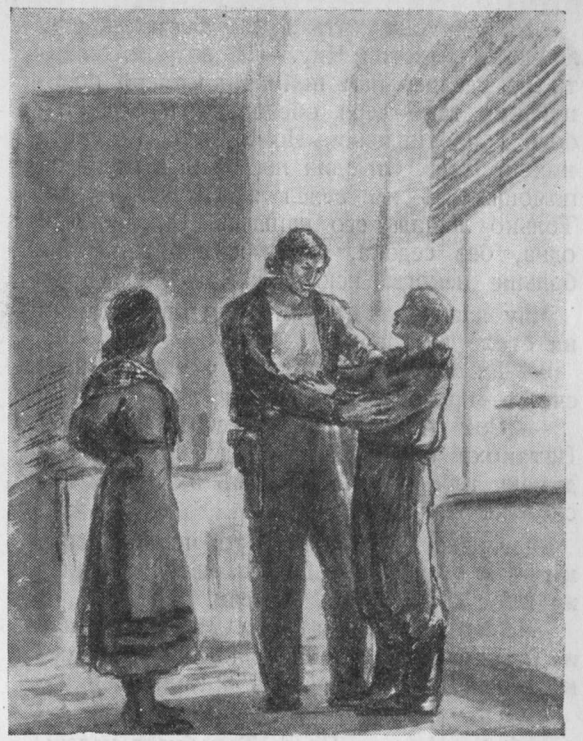
Из пытливо открытых мальчишеских глаз глядело на Ачассо что-то новое.

— Итак, Клаус, дело сделано, — проговорил Ачассо.

В первый раз он назвал его Клаусом. Но это не звучало более отчужденно чем прежнее «Сонни»: это было так же близко, но делало обоих более равными — и улыбка мальчика стала еще более открытой.

— Я делал лишь то, что мне указывали, — ответил он.

— Но ты делал все именно так, как надо, — это тоже чего-нибудь стоит!



— Сонни! — обратился к нему Ачассо.

— Я не знал, что из этого выйдет, когда начинал.

— У тебя был с самого начала верный инстинкт.

— Потом я видел Патакоху, а потом еще Антонио. Я знаю, как они держали себя во время допроса. И Чиу был при мне, он мне много растолковал.

— А какова Тутапа! — сказал Ачассо. — Добралась до самого Вальпарайзо. Она явилась неожиданно передо мной. А с с ней и Джен Дарнли, которую она захватила с собой из Калета Вьеха. Это было приключение хоть куда.

Это слово напомнило Клаусу мечты мальчика, отправившегося за тем, чтоб воевать с великанами, добывать богатство. Он покраснел.

— Сонни! — обратился к нему Ачассо былым, привычным тоном, встал и похлопал его по груди. — Сонни! — и еще раз похлопал, потом еще раз.

Клаус ответил ему тем же.

— Ачассо! — повторял он при этом. И они проделали это несколько раз. За этим застал их неожиданно Чиу. Он остановился в недоумении, а потом громко захохотал:

— Молодцом стал парнишка, неправда ли?

— Парнишка хоть куда, а станет еще лучше! — ответил Чиу. — А вот лейтенанта не удалось нам поймать. Семеро полицейских дали себя обезоружить без особого сопротивления. Но лейтенанта среди них не было. Он один поскакал в город за помощью, а им велел ждать на Пунта. Только лошадь его нашлась. Она пришла одна, без седока, сюда, к воротам. Мне больше некогда искать его.

Чиу взял уже в руки одну из лежащих на столе листовок.

— Да... Берендс... С ним у нас длинный счет, — проговорил Ачассо.

— Вот что, Ачассо, — сказал Чиу. — Патакоха и Пингвин сейчас уезжают. Я думаю, тебе надо бы сказать их людям несколько слов.

— Скажи Патакохе, что через десять минут я буду внизу. Да вот еще что: внизу живет старый моряк Мартин.

— Мартин? Его я знаю. Мартин, Клаус и Тутапа — они же были последними тремя, уцелевшими из нашей организации.

— Он друг мой и Клауса. Возьми его с собой в Артуро Прат. Там будет надежнее.

— Ладно. Ну, до завтрашнего вечера! — сказал Чиу уходя.

Ачассо нашел предлог, чтобы отослать Тутапу. Они остались с Клаусом вдвоем. Наступило молчание. Клаус смотрел вдаль, на бухту. Пароход с красной трубой был окружен множеством мелких лодок и ботов. Другой пароход — от трубы до самой ватерлинии, выкрашенный в черный цвет, с германским флагом на корме, — тоже подошел к месту стоянки. Загремел якорь. Пароход остановился, колыхаясь на высокой зеленой волне.

— Это тот самый пароход... — начал было Клаус.

Ачассо молчал.

— Это тот пароход, с которым уезжает Линднес. И Чиу думает... — Клаус запнулся.

— Чиу рассказал мне уже об этом, — помог ему Ачассо.

— Да, он говорит, что это будет лучше. Что там я могу больше сделать. Я и сам было хотел... Но как раз сейчас... Сейчас мне хотелось бы лучше остаться с вами.

— Чиу говорил с тобой о фашизме?

— Да. Теперь я знаю. Здесь я узнал, что это такое.

— В Германии фашизм разрастается. Не сегодня-завтра власть может очутиться в его руках!

— Потому-то мне и хотелось туда, чтобы поработать там. Но сейчас мне хотелось бы лучше остаться здесь.

— А все же Чиу прав: там ты можешь сделать больше. Мы работаем для одной и той же цели: мы — здесь и вы — там! И нам приходится отражать все новые удары именно потому, что за нашим фашизмом стоят другие силы, поддерживающие его. Германия, кажется, по части фашизма выдвигается сейчас на первое место. Нужно раз и навсегда задушить и уничтожить его.

Вошел матрос.

— Шлюпка на море! — сказал он, передавая Ачассо подзорную трубу.

— Это шлюпка с германского парохода, — сказал Ачассо, направляя трубу. — Она возвращается обратно на пароход.

— Там два пассажира! — проговорил матрос.

— Один — германский консул. А второй... — он посмотрел еще раз, пристальнее. — Берендс!

Матрос взял трубу у него из рук. Это был один из испытавших застенок Берендса. Он ожидал распоряжений.

— Тут мы ничего не можем сделать, — сказал Ачассо. — У нас другие задачи. Мы не можем из-за Берендса начинать войну с германским пароходом.

Матрос вышел.

Клаус поднялся. Он хотел сказать, что-то самое главное, но вместо этого проговорил деловым тоном:

— Пароходу осталось выгрузить лишь несколько частей машин. Через два часа он отходит. Мне надо сбегать к Слимми, подписать контракт.

Ачассо тоже поднялся. Они крепко обнялись.

Пароход оставил позади себя бухту Атахуальпы, миновал Пунта де Пьедрас и продолжал плыть вдоль чилийского побережья. Пароход этот останавливался в каждой гавани в поисках груза. Но грузов не было; ему удалось опустить в свое огромное пустое брюхо всего лишь сотню, другую мешков селитры. Выгружать ему тоже приходилось немного, но времени ушло на это порядочно. В одной гавани бастовали грузчики, в другой — буксирщики, в третьей — весь город был охвачен восстанием.

Клаус спросил у одного из бастующих про Атахуальпу.

— Давила послал туда крейсер и два истребителя, — ответил тот. — Высажен был и

десант. Но войска неожиданно взбунтовались, и сегодня получено известие: на крейсере развевается красное знамя!

Пароход плыл дальше. Медленно развертывалась бурая лента скалистого побережья: на горизонте показалась Калета Вьеха. Матросы обратили внимание на группы скал необычайной формы.

В следующей большой гавани пароход получил кое-какой груз. Это были слитки меди. Целый день работали под'емные краны, но вдруг все сразу остановилось. А ночью поднялась бешеная стрельба на берегу, в нескольких местах вспыхнули пожары.

Больше пароход не заезжал ни в одну гавань. Не доезжая до Вальпарайзо, он получил радиотелеграмму об ожесточенных боях в Вальпарайзо и столице.

Пароход проплыл мимо Вальпарайзо, не заходя в гавань. Но и в открытое море доносился отдаленный гул пушечных выстрелов. Ночью в городе горели целые кварталы. Монастыри и церкви вспыхивали на возвышенностях огромными факелами.

Потом стало холодно. Пароход достиг южных широт. Он не об'ехал мыса Горна и пошел через Магелланов пролив.

В самом устье пролива была получена радиотелеграмма. Линднес принес ее в кубрик.

— Дазила свергнут — бежал заграницу, в Аргентину.

— И советы победили?—спросил Клаус.

— Нет еще, но решающие позиции за народным фронтом,—ответил Линднес.

— Ну, у нас будет иначе! — пробурчал один из машинных рабочих. Это был организатор национал-фашистской ячейки на пароходе.

Клаус вгляделся в говорившего. Он непохож был на жителя северного побережья Германии и очень напоминал собой Морено.

Два часа спустя Клаус стоял за рулем. Неожиданно рядом с ним очутился Берендс. На нем была пелерина и огромная широкополая шляпа. Пока не скрылось из виду чилийское побережье, он не показывался на палубе.

Скрылись последние скалы Магелланова пролива. Перед носом парохода простиралась бесконечная равнина Атлантического океана.

— Лево руля!—скомандовал капитан.

Клаус повернул штурвал.

— Так держать!

— Курс — норднордост!

— Есть норднордост!—ответил Клаус.

Это был курс на Германию.

Конец

Елена Дмитриевна Стасова—старый большевик, один из активнейших руководителей международного коммунистического движения.

В этом номере журнала Елена Дмитриевна рассказывает о том, как работали большевики в условиях царского подполья, рассказывает и о своей теперешней работе по организации помощи борцам революции в капиталистических странах. Тов. Стасова—председатель Центрального комитета МОПР.

Тридцать восемь лет в партии

Рассказ Е. Д. Стасовой

На чашку чая

Когда я вступила в партию, она называлась Российской социал-демократической рабочей партией. Это было в 1898 году. До этого, в течение, примерно, двух лет, я выполняла только отдельные поручения и оказывала партии разные услуги.

Я жила в Петербурге. У родителей моих была большая квартира. А партия наша в то время очень нуждалась в деньгах. И вот в нашей квартире я устраивала платные лекции. При царизме делать этого открыто было нельзя, поэтому вместо билетов раздавали пригласительные карточки, на которых было написано: «Д. В. и П. С. Стасовы приглашают вас в 8 часов вечера на чашку чая».

После лекции или доклада обычно подавали чай, но суть-то дела была в докладе. Деньги же, собранные за лекцию, передавались в партию. Помню я такой случай: однажды делал доклад известный экономист Туган-Барановский. Был такой буржуазный «марксист», он написал учебник политической экономии. Об этом докладе пронюхала полиция. Когда кончился доклад, к нам на квартиру неожиданно нагрянули полицейские: они закрыли все входы и выходы и стали переписывать всех присутствующих. Сделали обыск. Но кроме пригласительных карточек «на чашку чая» ни у кого ничего не нашли. Тем дело и кончилось. А деньги все-таки были переданы, как надо, в партию.

Как я вступила в партию

В 1933 году, когда был тридцатипятилетний юбилей моей революционной деятельности, тов. *Кровицкий* написал мою биографию—небольшую книжку. В ней он рассказывает, что в старых тайных архивах царской полиции он нашел лист бумаги, исписанный с двух сторон. Там начиная с 1896 года были указаны все дела, по которым я привлекалась к суду царским правительством.

И, оказывается, что полиция считала меня членом партии с 1896 года. А я сама тогда даже не считала себя еще членом партии. И свой партийный стаж веду лишь с 1898 года, когда партия поручила мне уже большое, ответственное дело. Так у меня теперь и в партбилете указано. При царизме ведь партийных билетов или листочков не было. Условия подполья этого не позволяли, хотя членские взносы мы платили.

Как раз в 1898 году был арестован товарищ, который ведал складами ЦК и петербургского комитета и, по поручению партии, я взялась за это дело. Это была уже большая и ответственная работа. Вот почему именно этот год я считаю временем моего вступления в партию.

А сначала мне давали только хранить политическую литературу. Помню, были там такие брошюрки: «Кто чем живет», «Рабочий день», брошюра Владимира Ильича «О штрафах», был рассказ «Ничего с ними не поделаешь» — о том, как происходила стачка в Иваново-Вознесенске. Еще была книжка «Как держать себя на допросах». Все эти книжки я хранила у себя и прятала у знакомых.

„Петухи“

Дали мне на хранение и архив ЦК. Это уже было поважнее. В нем были и листовки. Были в этом архиве и листовки, которые написал сам Владимир Ильич. Одну из таких листовок мы называли «Петухами». На ней так и было написано «Петухи». Она была особенно задорная, призывная—замечательная была листовка. Как понадобится, бывало, написать прокламацию, ко-

торая заставила бы всколыхнуться всех, мне всегда говорили: «А ну-ка, Стасова, принеси «Петухов».

Листовка эта служила примером, как надо писать. Затем, спустя некоторое время, мне поручила партия и самую технику печатания нелегальных листовок и брошюр.

Так, постепенно, выполняя то одно, то другое дело, я и вошла в самую гущу революционной деятельности нашей партии.

В 1912 году я была арестована. Меня обвиняли в том, что я помогала организовывать в Тифлисе, как гласил обвинительный акт, «запрещенное общество под названием Российская социал-демократическая рабочая партия».

Красные гвоздики

Арестована я была в Петербурге, а дело разбиралось в самом Тифлисе. Туда меня и отправили судить. Обвинялось по этому делу всего семь человек. Продержали нас до суда почти целый год и судили только 2 мая 1913 года. 1 мая не хотели устраивать заседание суда. Так нашим защитникам сказали чиновники в суде. «Мы знали, что вы все придете на процесс с красными знаменами».

Царские судьи не ошиблись: мы, конечно, так бы и сделали. Но и 2 мая мы все пришли с красными гвоздиками и у наших защитников в петлицах тоже были красные гвоздики.

Меня приговорили к ссылке. В Сибирь отправили по этапу, но не пешком, а по железной дороге. Из Тифлиса — через Баку, Ростов, Козлов, Ряжск в Самару. Из Самары—прямо в Челябинск, а там—до самого Красноярска. Тут пришлось мне посидеть в пересыльной тюрьме, пока не отправили в Канск. Из Канска—до станции Уяр, а оттуда—уже на лошадях до села Рыбного. На место моей ссылки меня привезли зимой 22 января, как раз в кровавое воскресенье. В ссылке я пробыла три с половиной года. У меня были старики-родители: отцу было 90 лет, а матери 79. Они приехать ко мне не могли, а очень хотелось им меня повидать. Вот я и стала копаться в царских законах и откопала такой закон, по которому можно добиваться, чтобы меня отпустили на побывку домой из Сибири. В это время исполнилось как раз 50 лет, как мой отец проработал присяжным поверенным. А он пользовался большим уважением. Я написала официальное заявление, что прошу ко мне применить такую-то статью закона, т. е. не просила поблажки, а только применения закона. Товарищи смеялись надо мной, говорили, что ничего из этого не выйдет. Оказалось — вышло. Дали мне право с'ездить в Петербург.

Новый арест

Приехала я туда в сентябре 1916 года. Срок моей побывки кончался через четыре месяца. Быстро прошло это время — надо возвращаться, но я заболела и получила продление отпуска до весны. 24 февраля, когда в столице уже были расстрелы рабочих, мы с отцом пошли на доклад Керенского о событиях в городе. Отец был очень старенький, но я взяла его под руку и пошли мы с ним потихоньку. А часов в 12 назад пришли. Легли спать. Вдруг я проснулась, вскочила и сразу подумала, что сейчас ко мне придет полиция. А у меня были кое-какие документы. Я спрятала их в соседней комнате, в столовой, куда, знала, не пойдут обыскивать, и легла снова спать. Только что легла—звонок. Действительно, пришла полиция, сделала обыск и забрала меня.

Участок, куда меня повели, был через два дома от нас, на той же самой улице. Сначала, в женской камере я сидела одна. Но за день привезли еще 18 человек. Царское правительство очищало столицу от всех подозрительных лиц.

Начиналась февральская революция. Тогда же были арестованы и Мария Ильинична, и Александра Ильинична, и другие партийные товарищи. Они сидели по другим тюрьмам, по другим камерам.

Свобода

Вот мы сидим. Слышим, стреляют на улицах, и думаем: «Стреляют—значит, наша берет, стихает — значит царское правительство одолело». Это было 26 и 27 февраля. Это время мы жили в тревоге. Вечером 27 февраля, после проверки, слышим наступила в тюрьме необыкновенная тишина, какой никогда не бывало. Мы удивились. Вдруг раскрываются двери и врывается к нам в камеру группа мужчин, похожих больше на хулиганов чем на рабочих.

— Вы,—говорят они нам,—свободны!

Мы думали, это черная сотня пришла. Я была старшая в камере. За мной все ходят, как цыплята за наседкой, и спрашивают меня:

— Елена, что делать? Я соображаю: «Может, они нас убить пришли? Но если убить, то и тут убьют, а на улице все-таки удрать можно». И говорю:

— Айда, пойдем!

Выходим, а ворота—прямо на ту улицу, где я жила. Гляжу, нас ведут в противоположную сторону. Я и думаю: «Ну, это — к стенке!» А там проходной двор был и рядом с участком—пожарная часть. Вышли во двор к пожарным, а они нам кричат:

— Поздравляем с освобождением!

Почему же у нас создалось такое странное впечатление от пришедших к нам? В ночь с 27 на 28 февраля были освобождены восставшим народом не только политические заключенные, но и уголовные. Они ходили по участкам и освобождали своих знакомых. Группа таких уголовных пришла и в наш участок, где рядом с нами сидели уголовные женщины. Уголовные не знали, кто где сидит, и освободили всех, в том числе и нас. А так как они были уголовные, то есть воры и грабители, то мы их и приняли за черносотенцев. Но как бы то ни было, мы уже были на свободе.

Дорогие встречи

За долгие годы моей партийной работы было у меня несколько дорогих встреч, о которых мне хочется рассказать особо. Это встречи с Владимиром Ильичем и с товарищем Сталиным.

В первый раз я встретилась с Владимиром Ильичем в 1905 году. Надежду Константиновну я давно знала, а Владимира Ильича знала только по партийной переписке. В 1905 году я привлекалась к суду по одному делу с тов. Бауманом. Суд был назначен в августе. Двое наших товарищей не явилось. Один из них—тов. Ленгник, он был член ЦКК, а другой—тов. Александров. Мы их уговорили, чтобы они на суд не являлись, потому что оба были больны. А наказанье грозило им более суровое чем другим, так как они уже отбыли один раз наказанье. Прокурор заявил, что он не может слушать дела без них, и суд отложили. В это время подошла революция 1905 года—и мы все попали под амнистию.

За долгие годы работы я очень устала. И товарищи предложили мне поехать заграницу. Я поехала в Швейцарию и там в первый раз встретилась с Владимиром Ильичем. Пришла я к ним на квартиру. Жили они с Надеждой Константиновной очень скромно.

Владимир Ильич встретил меня так, как будто мы были с ним давным-давно знакомы. Стал расспрашивать, что делается в Петербурге, в Москве: в то время я была секретарем ЦК и вела переписку со всей Россией.

Владимир Ильич просил, чтобы я рассказывала обо всем подробно. Я боялась что-нибудь упустить, но он умел так выспрашивать, что действительно вспоминалось все, что нужно было ему рассказать.

Заграницей мне несколько раз приходилось встречать Владимира Ильича. Он хотел, чтобы я сделала доклад русским эмигрантам в Женеве о том, что делается в России. По этому поводу я много раз совещалась с Владимиром Ильичем, как лучше сделать доклад, какие вопросы поставить. Владимир Ильич был замечательным учителем. Бывало два—три слова скажет—и сразу вопрос становится ясным.

„Хитрые глаза"

Затем пришлось мне встречаться с Владимиром Ильичем очень часто начиная с апреля 1917 года. Раз как-то, в 1919 году, я встретила его на каком-то собрании. Перед этим он немножко прихварывал, но сейчас был уже здоров, весел.

Я подошла к нему и говорю:

— Как я рада, что вы себя лучше чувствуете и глаза у вас опять стали хитрые!

Он спросил:

— А разве у меня хитрые глаза?

— Да,—говорю я,—хитрые.

Он стал смеяться.

А смеялся он так заразительно, что если кто-нибудь слышал его смех, то не мог сам не засмеяться. Он очень любил, когда ему рассказывали что-нибудь веселое.

Помню такой случай: был юбилей — пятидесятилетие Ильича, но я не могла принять в нем участия, хворала, а мне хотелось доставить ему какое-нибудь удовольствие.

Нашла я старую карикатуру на юбилей народника Михайловского. На этой карикатуре изображен был Михайловский: стоит он, растроганный, с платочком в руках, и вытирает слезы, а перед столом стоят

маленькая девочка с торчащей косичкой и мальчик в коротеньких штанишках и в матроске. Под карикатурой подпись: «Михайловский и «марксята»... Народники в то время считали себя руководителями революционного движения, а нас ставили ни во что, называли «марксятами». Я переслала эту карикатуру Владимиру Ильичу с письмом, что вот, мол, когда-то нас называли «марксятами», а теперь Вы— Ленин, вождь единственной в мире пролетарской партии! Владимиру Ильичу эта карикатура очень понравилась, и на торжественном собрании в Московском комитете на своем юбилее он сказал: «Вот один мой большой друг прислал мне замечательную карикатуру, которая показывает, как не надо юбилеев устраивать».

Надежда Константиновна мне тоже рассказала, что он очень смеялся над этой карикатурой. Недавно я была в новом музее Ленина, но не видела этой открытки. Не знаю, сохранилась она или нет.

В восемнадцатом году

Хочу рассказать еще об одной встрече. Это было в восемнадцатом году, когда немецкие войска стали наступать на наши беззащитные фронты и мы должны были заключить очень невыгодный для нас «похабный» Брестский мир. У Владимира Ильича в это время в Смольном, в кабинете, был тов. Карахан. Он ездил вместе с делегацией заключать этот мир и привез свиток этого мирного договора—огромную бумагу, с печатями, завернутую в тряпку. Вот Карахан начал торжественно бережно развертывать свиток.

— Надо,—говорит,—чтобы вы, Владимир Ильич, подлинник прочитали.

Владимир Ильич страшно рассердился.

— Как,—говорит,—вы хотите, чтобы я читал? Хорошо, что я подписал эту похабную бумагу. А читать ее я не хочу и выполнять, где возможно, не буду.

Так Владимир Ильич ее и не читал.

Переписка с тов. Сталиным

С товарищем Сталиным в то давнее время непосредственно мне не пришлось встретиться. Но связь мы с ним держали.

В 1912 году, когда нас судили в Тифлисе, один из наших товарищей обвинялся в том, что он написал воззвание к 1 Мая. А на самом деле это воззвание было написано товарищем Сталиным. В это время как раз мы с ним были тесно связаны перепиской.

В Петербурге, когда меня арестовали по делу тифлисской организации, на руках у меня были партийные суммы. Я их успела передать моему брату и предупредила его, что за деньгами придет товарищ с таким-то паролем. Кто придет, я сама не знала. Этот товарищ пришел, и это был товарищ Сталин.

Позднее, когда я была в минусинской ссылке, а товарищ Сталин—в туруханской, мы с ним тоже переписывались.

Но, к сожалению, эти ценнейшие исторические документы не сохранились. Ради конспирации приходилось все письма уничтожать.

Сохранились только те письма, которые находились в архиве ЦК и после одного провала вместе с архивом попали в охранку.

В Петрограде после революции я некоторое время работала вместе с товарищем Сталиным, а с 1926 по 1934 год работала непосредственно в его секретариате.

Помощь заключенным

В своей жизни, в своей революционной деятельности я уделила много труда работе среди женщин.

Сейчас я руковожу работой Международного общества помощи борцам революции.

Прямую денежную помощь мы оказываем нашим организациям, а посылать деньги непосредственно кому-нибудь из пострадавших за дело революции, прямо в тюрьму, мы не можем. Ведь если послать деньги заключенным в фашистской Германии, то германское правительство их конфискует. Вот почему мы посылаем деньги только нашим секциям. А они уже сами их распределяют по тюрьмам.

Всех секций МОПР в разных странах за рубежом семьдесят две.

Связь мы с ними ведем или прямую или через наши зарубежные представительства.

Там, где секции нелегальны, дело обстоит труднее. Но все же мы находим пути и посылаем деньги и этим секциям.

Деньги наши туда доходят. Мы прекрасно об этом знаем, потому что получаем письма, в которых нас благодарят. Правда, в письмах об этом не прямо пишут, но

всегда можно понять, что деньги дошли. Так же было в царское время, когда мы сами сидели в тюрьмах. Нам тоже открыто денег и писем не посылали.

Письма молоком и в сахаре

Вы, наверное, знаете, что Владимир Ильич из тюрьмы письма молоком писал. Так же и мы делали. Когда одна моя большая приятельница сидела в тюрьме, мы посылали ей записки в слоеном печенье. Мы его разделяли по слоям, вкладывали записочку, опять заделывали, и с внешней стороны не видно было. А записка доходила по назначению. Ответ мы тоже получали, уж другим способом. На эмалированном белом судке, внутри, она писала ответ молоком. На белом белое не сразу видно, а на свет можно разглядеть. Или еще посылали клюкву засахаренную. Мы делали ее искусственную. Напишешь на тонкой бумаге письмецо, закатаешь в свинцовую бумагу, окунешь в варенье, затем в сахар и получается как клюква. Или посылали мандарины. Вынешь звездочку, вложишь туда записочку и закроешь звездочкой. Можно и в сахар записку вложить. Сахар не разрежешь, но его можно распилить, вложить туда записочку и заклеить яйцом. Умели мы и обратно записки передавать при свидании: или в руку сунешь или в рот, когда здороваешься.

Так и теперь заключенные присылают нам вести.

Правда, пока наши сведения дойдут до тюремных узников, проходит много времени. Как-то от одного итальянского товарища мы получили ответ на наше письмо, которое было послано 6 лет назад. Он был в такой тюрьме, что даже жена его никак не могла, передать ему письмо. Конечно, тут нужно терпенье, и нужно им надолго запасаться.

Помогаем мы и семьям заключенных. Есть у нас детский дом в Иванове, и строится около Москвы еще один около станции Монино. Там находятся ребята заключенных, и людей, которые должны были эмигрировать из своей страны.

Конечно, все такие ребята приезжают в СССР нелегально.

В этих домах есть ребята разных наций, из разных мест. Один—даже с острова Кубы. Отец его там в тюрьме сидит.

Тревога за Тельмана

Сейчас нас очень тревожит положение одного заключенного, которого вы все знаете. Это товарищ Тельман.

Положение тов. Тельмана очень опасное. Мы не знаем, будет ли суд над ним или нет, и очень тревожимся, что фашисты могут убить его как заложника.

Правда, фашисты учитывают, что общественность всего мира борется за спасение Тельмана. Но в тюрьме чего не бывает! Обещают, обещают освободить,—а потом убьют. Не даром в свое время наша партия не позволила Владимиру Ильичу явиться для ареста в 1917 году, потому что боялась за его жизнь.

Орден Ленина

В 1933 году, когда в международный день работницы, восьмого марта, были впервые награждены женщины, получила орден Ленина и я. Я в это время была в отпуску, прочитала об этом в газетах. Там было сказано, что я награждаюсь за работу по улучшению положения женщин. В подполье, конечно, у нас женского отдела не было. Но уже и тогда и позже вместе с Надеждой Константиновной мы вели эту работу. За это партия и правительство сочли нужным дать мне орден Ленина.

Когда я вернулась из отпуска, на заседание ЦИК вызвали нас несколько человек. Получали тогда награды и другие товарищи: красноармейцы получали орден Красного знамени, Красной звезды. Был, между прочим, вместе с нами даже один американец, который получил орден Ленина за работу на строительстве.

Ордена всем давал Михаил Иванович Калинин. Это был очень торжественный день в моей жизни. Было много народу, длинных речей, нам не пришлось говорить.

Мы поблагодарили и обещали с честью носить этот орден.

Я в первое время хотела надевать орден только на парады, на собрания, мне казалось, что, по уставу, не полагается его носить каждый день. Но как-то на заседании товарищ Каганович, увидев на моей груди один только жетон десятилетия МОПР, заметил мне:

— Что же это вы: жетон носите, а орден Ленина не надели?

И с тех пор я его всегда ношу.

НАУЧНЫЙ ТЕЛЕГРАФ

ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ НАУК БИОЛОГИЧЕСКИХ, ГЕОГРАФИЧЕСКИХ, ГЕОЛОГИЧЕСКИХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ

АСТРОНОМИЯ

Кольцо вокруг Юпитера

Не первую сотню лет поражает астрономов кольцо вокруг Сатурна. Вокруг Земли ходит Луна, вокруг Марса — две Луны, вокруг Юпитера — целых девять. Но вот другого такого небесного тела, у которого было бы, как у Сатурна, кольцо, никто никогда не видал...

Недавно французские астрономы заметили, что некоторые Луны — спутники Юпитера, — двигаясь вокруг него, внезапно темнеют. Темнеют, правда, почти незаметно: их свет теряет какую-нибудь десятую часть своей силы. Но все-таки это происходит каждый раз и притом обязательно тогда, когда спутники находятся против одного и того же места планеты. Словно, дойдя до этого места, они вдруг попадают под что-то темное, но полупрозрачное.

Что же это может быть? Французские астрономы думают, что они открыли темное кольцо вокруг Юпитера, незаметное из-за яркого блеска гигантской планеты. Это кольцо не сплошное: как и кольцо Сатурна, оно состоит из десятков тысяч небольших тел-частиц.

Если такое кольцо есть у Юпитера, то Сатурн, значит, — не исключение. Может быть, все или большинство планет имели такие кольца?

Некоторые астрономы считают, что было такое кольцо и у Земли. Только очень давно это было. Постепенно десятки тысяч мелких телец собирались вместе: из них получалось сначала несколько спутников, а в конце концов один. Так, по мнению этих астрономов, появилась наша Луна. Но пока нельзя сказать, правы ли эти астрономы или правы другие, думающие, что Луна отделилась от Земли в том месте, где сейчас Великий океан.

Необычайный болид

Собственно, событие это произошло еще 6 августа 1935 года. Оно случилось внезапно. К нему не мог приготовиться ни один ученый в мире. Его видели только те, кто случайно в эти пять—десять секунд взглянул на небо.

И только когда тысячи писем очевидцев из разных стран стали приходить в астрономические обсерватории, выяснилась вся необычайность этого события.

Тотда астрономы стали записывать показания свидетелей, тщательно сличать письма, и недавно французское астрономическое общество издало целую книгу с описанием того, что ему удалось разузнать о событии 6 августа.

И вот что выяснилось.

Было около половины девятого. Только начало темнеть. Внезапно на юговостоке вспыхнул огненный шар. Он несся по небу с громадной скоростью, сверкая нестерпимым голубовато-белым блеском. За ним расстилался яркозеленый хвост. Странный свет лег на все предметы на земле. Если бы было темно, шар осветил бы землю, как в полнолуние. Он проносился, вероятно, на огромной высоте, но все же слышались свистящий шум и шипенье.

Шар пробежал половину неба и угас так же внезапно, как появился. Одни считают, что это длилось 5 секунд, другие говорят, что 12 секунд. Шар видели в Северной Италии, в Австрии, Франции и Бельгии. Его падение должно было бы сопровождаться ударом страшной силы. Но никто не видел и не слышал, как он упал.

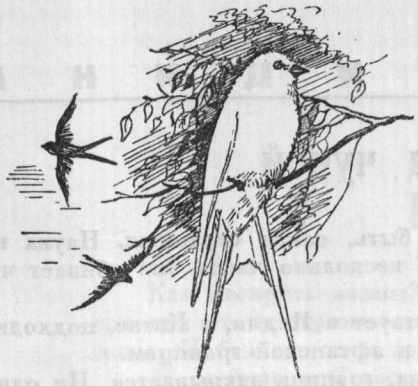
Вероятно, он накалился добела и, сгорев в воздухе, превратился в светящийся газ.

Сверив все показания, французские астрономы пришли к выводу, что болид, пронесшийся над Европой 6 августа 1935 года, был самым большим из небесных камней, какие только видело теперешнее поколение людей. Он был, вероятно, лишь немногим меньше знаменитого тунгусского метеорита, упавшего в 1908 году в сибирской глуши, где его до сих пор не могут найти научные экспедиции.

БИОЛОГИЯ

Белая ласточка

В Зоологический музей Академии наук доставили ласточку необычайного вида: ни одной темной крапинки не было на ее белоснежном оперении. Совсем белая, со светлыми глазами — полный альбинос. Так называют животных, у которых не развивается окраска. Но ласточки-альбиносы — редчайшее явление.



Белую ласточку убили на реке Припяти. За ней, единственной белой в стае, гнался перепелятник. Это была тоже небывалая вещь. Ястреба-перепелятники даже не пробуют охотиться за быстрыми ласточками. Ласточкам опасны только чеглок и дербник.

Выслушав рассказ охотника, убившего белую ласточку, ученые из Зоологического музея вспомнили старое сообщение Дарвина о том, что есть места, где нельзя держать белых голубей: их истребляют ястреба.

Случай с белой ласточкой был очень ярким примером борьбы за существование и естественного отбора в природе, о котором говорил Дарвин.

Ястреба уничтожают именно белых ласточек, не трогая остальных. Хищные птицы не дают размножаться альбиносам и этим самым поддерживают нормальную окраску у ласточек. Но альбиносы — это уроды. Известно, например, что кошки-альбиносы, белые с голубыми глазами,— глухи. Истребляя альбиносов, ястреба освобождают породу ласточек от уродов.

БОТАНИКА

Лимон, не боящийся морозов

Лимонное дерево, выращенное колхозником Акопяном, получило теперь не только «всекавказскую», не и всесоюзную известность.

Недалеко от Нового Афона есть Курудере — «сухое ущелье». Эта лощина расположена довольно высоко в горах. Ее можно бы назвать не только сухим, но и ветренным ущельем. Тут нет защиты от ветров, и ветры дуют со всех сторон.

И на открытом месте вот уже 15 лет растет лимонное дерево Акопяна. Несколько раз зимой налетали на него метели. Но когда южное солнце через несколько дней растапливало снег на его листьях, лимон продолжал расти, как ни в чем не бывало.

В чем тут дело? Может быть, Акопяну удалось вырастить новый сорт лимона, не боящийся мороза?

Из института субтропических культур приезжала специальная комиссия. Приезжал сам директор института. Сейчас необыкновенный лимон взят под научное наблюдение.

Надо испытать потомство этого упрямого дерева: свойства его могут оказаться наследственными.

А если так, то, может быть, через несколько лет Кавказское побережье покроется лимонными садами, которые все вырастут из косточек лимона Акопяна!

МЕДИЦИНА

Победа над чумой

Чума — страшная болезнь. Может быть, самая страшная. Наука не знает верных средств борьбы с ней. В несколько часов она убивает человека.

Эпидемия чумы до сих пор свирепствует в Индии, в Китае, подходит время от времени к нашим персидской и афганской границам.

И когда заграницей появляется чума, граница закрывается. Ни одно живое существо не должно перейти ее. А если уж непременно надо проехать оттуда к нам, то человек проходит самые строгие осмотры, выдерживается в карантине, все вещи его дезинфицируются.

Поэтому чумные эпидемии и останавливаются на нашей границе.

И все же мы не умеем защитить организм человека и животного от чумы, а просто не даем ей пройти к нам.

Но кто может ручаться, что чума никогда не перепрыгнет через карантинные стены?

Доктор Магдалина Петровна Покровская, работающая на противочумной станции в г. Ворошиловске, на Северном Кавказе, уже много лет ищет средств победы над чумной заразой.

Отчего эта зараза так страшна для организма? Когда в наше тело попадают другие заразные микробы, белые кровяные шарики, наши защитники, вступают с ними в борьбу.

Но с чумой они даже не пробуют бороться. Они бегут прочь от того места, где проникли в кровь чумные бациллы.

Неужели у этих бацилл нет врагов?

Проделав сотни опытов, доктор Покровская нашла врага чумных бацилл. Это чумный бактериофаг, пожиратель чумы — существо настолько мелкое, что его не видно даже в микроскоп.

После битвы с бактериофагом культуры чумных бактерий редеют. Лишь немногие чумные бациллы выживают и выжившие становятся вялыми.

Но если приучить организм на таких недобитых чумных бациллах бороться с чумой?..

Покровская делает прививки скоту. Скот после прививки делается невосприимчив к чуме.

А человек? Для этого нужно сделать опыт на живом человеке, но кто первый решится на страшный опыт?

Тогда доктор Покровская впускает себе в кровь шприц сыворотки— 500 миллионов чумных бацилл, выживших после битвы с бактериофагом. Опыт проходит блестяще. Но, может быть, случайно? Может быть, у Покровской особенно крепкий организм? Она повторяет прививку, и вместе с ней — начальник станции доктор Эрлик. Врачи запрещают ему делать опыт: у него слабое здоровье. Но он отвечает: «Мое здоровье мало чем отличается от здоровья тысяч людей моего возраста. Поэтому особенно важно выяснить, как люди с таким здоровьем могут перенести прививку».

Двойной опыт снова прошел блестяще.

Это означает, что найдена сыворотка против чумы.

Двумя советскими врачами-героями найдено средство так вооружать организм против чумной заразы, что она делается ему нестрашной.

ТЕХНИКА

Невидимый мол

Как усмирить волны? Как остановить разбушевавшееся море? В портах для этого строят молы, отгораживающие от моря искусственные заливы. И без молов в портах не обойтись, хотя выстроить мол нелегко.

Но сейчас в Севастополе производятся замечательные опыты, которые можно бы назвать опытами с невидимым молом.

В море не строят никаких стен. Только прокладывают по дну его трубы с отверстиями в стенках. Дырка от дырки — на 15 сантиметров.

Когда море разбушуется, по трубам пускают сжатый воздух. Он вы-

рывается из дырок тысячами пузырьков, и стена пузырьков воздуха разбивает водяные струи и ломает волны.

В большую бурю у Севастополя невидимый мол сжатого воздуха отгородил площадку, где в тихой воде еле колыхались слабые волны без гребней.

Стеклянный дом

При постройке этого дома не понадобились никакие строительные материалы кроме стекла. Ни одной деревянной или стальной балки, ни одного кирпича, ни цемента, ни железобетона.

Дом весь сделан из стекла.

А он не так мал: в нем два этажа — 39 комнат.

Его стены из стекла, и между стеклянными плитами и балками проложена стеклянная вата. В доме нет ни одного окна: зачем окна в стеклянном доме! Есть только мощные, тоже стеклянные вентиляторы и воздушные фильтры, в которых стеклянная вата задерживает почти всю пыль, которой так много в городском воздухе.

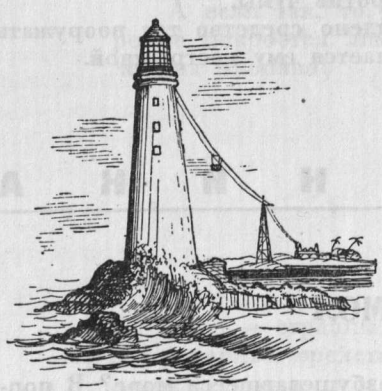
В этом доме весь день солнце и во всех комнатах одинаково светло. А где нужна тень или надо, чтобы не было видно все насквозь, стекло сделано непрозрачным.

Такой дом построила стекольная фирма в городе Толедо, в Соединенных штатах. В этом доме исследовательская лаборатория фирмы.

Фирма построила этот дом как рекламу и как доказательство, что стекло годится еще для многих других вещей, помимо тех, для которых его обычно употребляют.

Маяк без людей

Сотни кораблей идут ежедневно в Ламанш — пролив, разделяющий Францию и Англию. И все они хорошо знают новый Невидикский маяк, стоящий на маленьком островке в 22 километрах от французского берега.



Ночью на маяке вспыхивает и гаснет свет. В бурю ревет сирена и, покрывая грохот прибоя, раздаются выстрелы пушки, стреляющей газом — ацетиленом.

Капитаны кораблей рады, что в этом бурном месте появился маяк. Он стоит даже не на островке, а прямо на самых опасных рифах, в километре от островка. И белая пена в штормы покрывает его до самых стекол фонаря.

Но как же живут люди на маяке?

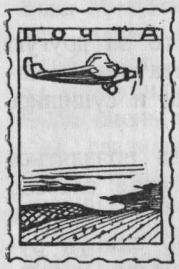
Людей там нет. Зажигается и гаснет свет мощной лампы; ревет, когда надо, сирена; стреляет пушка — и все это без людей.

Но люди все же следят за работой автоматического маяка. Они находятся далеко, в безопасности, на электростанции, в середине острова. Их соединяют с маяком подвесная дорога и электропровода. По радио они слушают сирену и пушку.

Изредка люди садятся в вагонетку, подвешенную на тросах, и едут в маяк перезаряжать лампу и пушку.

Маяк-автомат строили 23 года. Начал работать он только недавно и пока работает отлично.

ПОЧТА



Первый полет

Письмо Левы Дьяконова,
г. Петропавловск на Камчатке,
неполная средняя школа АКО, 5-й класс

Я хочу рассказать о том, как я летал на самолете над Камчаткой. Мы живем в Петропавловске. Этот город находится так далеко от Москвы, что письмо идет целый месяц.

8 марта у нас катали на самолете женщин-ударниц. Наша знакомая, Любовь Александровна, тоже была на аэродроме и ждала, когда придет ее очередь полетать на самолете. Когда она садилась в кабину, то увидала моего младшего брата Юру и посадила его вместе с собой. Я в это время был в школе. Не успел я зайти домой, как Юра бросился ко мне и начал рассказывать, как он летал на самолете. Мне тоже очень захотелось полетать.

Я стал просить папу пойти в выходной день на аэродром и покататься на самолете. Папа согласился.

Никогда я не ждал с таким нетерпением выходного дня: уж очень хотелось скорей полетать.

В выходной день, проснувшись, я скорей побежал к окну. Я страшно боялся, что будет плохая погода и мы не полетим.

Но погода была прекрасная: небо совершенно чистое, ни одного облачка; и ветра не было.

Я позавтракал и пошел кататься на лыжах. В марте у нас еще зима. А лето очень короткое; его даже незаметно.

Вдруг я увидел, что к аэродрому летит самолет. Я отнес лыжи домой, и мы пошли на аэродром. Аэродромом у нас зимой служит озеро. Там уже стояла большая очередь.

Через час мы с папой сели в кабину самолета. Летчик включил мотор, и сильный шум заглушил все; ветер чуть не сорвал с меня шапку. Самолет разбежался и совершенно незаметно для нас оторвался от земли.

Скоро он поднялся довольно высоко, и под нами было уже не озеро, а Авачинская бухта. Она казалась совершенно синей. Впереди нас протянулась длинная цепь гор.

Слева я увидел Никольскую сопку. Казалось, что она покрыта не лесом, а мохом. С самолета все казалось на земле очень маленьким и было похоже на географическую карту.

Я увидел большие сопки: Корякскую и Авачинскую. Они возвышаются над уровнем моря на два с лишним километра каждая.

Авачинская сопка — это вулкан, и здесь бывают частые извержения.

Самолет повернул обратно. Снова мы пролетаем около сопки. Можно было подумать, что мы в поезде, — так быстро мелькали перед глазами деревья и кусты.

Вдруг самолет сделал крутой наклон влево и пошел на спуск. Снова под нами было озеро, усеянное людьми. Замелькали дома. Так же незаметно, как и поднялись, мы опустились на землю.

Вместе с папой мы вылезли из кабины самолета. Я был очень рад, и мне хотелось летать еще. Весь этот день мы говорили о нашем полете, и я рассказал всем ребятам, что видно с самолета.

Я спас утопающего

Письмо Юры Галянина
г. Горький, школа имени Ленина, 6-й класс

Был жаркий солнечный день. Мой товарищ Боря Жаркевич зашел ко мне и позвал меня купаться. Я согласился. Когда мы пришли на берег Волги, Боря встретил знакомых ребят. Их было четыре человека. Мы решили нырять с плотов.

Один из бориных товарищей плавать не умел. Он вспотел — и ему очень хотелось купаться, а потом ему не хотелось отставать от ребят. Наконец, он не вытерпел и начал раздеваться.

Раздевшись, он быстро подбежал к краю плота и прыгнул в воду. Он не знал, что здесь глубоко: иначе он, конечно, не прыгнул бы в воду. Когда он прыгнул, то сразу же опустился на дно и начал захлебываться. Вынырнет — хлопает по воде руками и что-то кричит. Боря начал суетиться и бегать по плоту, хвататься за доски. Доски были крепко прибиты. Но он продолжал дергать то за одну, то за другую доску, потом вдруг начал хвататься за канаты, которые тут же лежали и сушились на солнце.

Тонувший уже реже начал появляться над водой, и голос у него стал слабый. Я сначала думал, что он шутит, но потом увидел, что он тонет. Быстро скинул рубашку, которую только что надел, и нырнул рядом с ним. Когда я вынырнул около него, он начал за меня хвататься, я его сильно толкнул. Он перестал цепляться за меня и пошел ко дну. Тогда я схватил его за шею сзади (я схватил бы его за волосы, но он был острижен) и подплыл к плоту. Ребята вытащили его на плот за руки. В это время сильным течением меня самого начало затягивать под плоты. Я очень устал и чуть было сам не утонул. Но ребята вовремя подали руки и вытащили меня.

Путешествие в лодке

Письмо Бори Воробьева
г. Москва, 48, Б. Пироговская, д. 61, 6-й Дом советов, кв. 183

Летом прошлого года я жил в Сочи. У меня был очень хороший друг, Боря Милютин. Мы все дни проводили вместе. Нам очень хотелось покататься по морю, но никто не давал нам лодки. Тогда мы решили сами построить лодку-плоскодонку. Досок у нас не было. Но однажды мы гуляли по берегу моря и увидели, как волны выкинули на берег несколько досок. Мы стали ходить каждое утро к морю и собирать принесенные волнами доски.

Лодку мы решили строить в строгом секрете, чтобы никто не знал. Мы строили ее в овраге, у моря. Боря готовил доски для обшивки бортов, а я сколачивал шпангоуты. Через 2 недели мы сделали лодку. Мы перенесли ее на берег и начали спускать в воду. Оказалось, что мы плохо заклепали лодку: вода просачивалась в нескольких местах. Весел сделать мы не сумели — приходилось грести досками. Это было очень неудобно.

Лодку пришлось переделывать снова. Мы ее хорошо заклепали, а весла нам подарил один из матросов Освода. Борис покрасил лодку зеленой краской и на борту написал: «Моряк». Так называлась наша лодка.

Испытания прошли хорошо. И я уже начал подумывать о парусе. Борис одобрил это предложение. И мы начали шить парус у себя дома. Я раздобыл простыню, а Борис где-то достал крепких веревок. Парус нам

помог сделать дядя Ваня, старый моряк, а теперь работник Осовода.

Когда лодка была готова, мы стали каждое утро плавать на ней по морю. Мы даже совершали походы. Например мы добрались на нашей лодке до Хосты, расположенной недалеко от Сочи. Потом к нам в компанию стал проситься брат Бориса Вова Милютин. Он был отчаянный рыболов. Мог сидеть целыми часами с удочками и ждать, когда клюнет рыба. Мы его приняли и научились ловить рыбу не хуже него. Было очень хорошо ездить на лодке по тихой, гладкой воде. В жаркий день можно было спрятаться от солнца под навесом над лодкой. Другие ребята в эти дни бегали по городу и очень скучали, а нам было всегда весело. Скоро у нас появилось еще одно развлечение.

Я купил на базаре, у одной старушки, пару кроликов: самца и самку — породы «шиншилла». Это были два сереньких маленьких кролика. Сначала я их поместил в клетке на нашем балконе. Но так как мы жили на втором этаже, то комиссия по санпроверке не позволила нам держать их на балконе. Я уже хотел продать кроликов. Валя Горбатенко и Боря Милютин начали уговаривать меня сделать загон для кроликов в овраге. Я согласился. Мы выбрали небольшую полянку внутри густо разросшегося кустарника и начали строить загон. Отсюда никто не мог украсть наших кроликов. Пролезть на полянку было очень трудно: только мы могли найти проход. Мы натаскали на полянку досок и раздобыли хорошую сетку, вбили полукругом колья вышиной метра в полтора и обтянули сеткой. Снаружи мы насыпали камней, чтобы кролики не могли прорыть ход под землей. В угол насыпали соломы и разделили сеткой весь загон на четыре части. Это мы сделали для того, чтобы кролики паслись в одном загоне, а в других вырастала трава.

В первую же ночь кролики вырыли норки, и клеток не понадобилось. Пришлось сделать над каждой норкой небольшой навес, чтобы в нее не проникала вода. Кролики у нас стали очень быстро размножаться. Через два месяца их было уже пятнадцать. Мы каждое утро приносили им отбросы с огорода: ботву от моркови, капусту, рвали сочный клевер — самое любимое кушанье кроликов. Они ели и остатки от обеда, особенно любили борщ. Когда я уезжал из Сочи, я отдал всех кроликов Борису Милютину. По письмам, которые я получаю от него, я знаю, что их уже 50, что он купил несколько кроликов разных пород. Летом этого года я навещу моих кроликов.

История Дома советов

Письмо Георгия Самсонова
БССР, г. Гомель, ул. Карповича, д. 25

В нашем городе Гомеле есть огромное красивое здание—Дом советов. На этом доме висит черная мраморная доска. Вот что на ней написано:

«В 1919 году, 24 и 25 марта, в этом здании коммунары геройски защищали завоевания Октябрьской революции от белых банд Стрекопытова».

В эти дни здесь погибло очень много коммунаров, и рядом с мраморной доской висят портреты этих героев.

Когда я увидел эту надпись, мне очень захотелось узнать историю здания. Я стал всех спрашивать. Очень много мне рассказал про это здание мой дедушка.

В Гомеле жил миллионер Шанович. Он строил железные дороги на Дальнем Востоке и во время русско-японской войны страшно разбогател.

В 1908 году он построил здание, в котором теперь находится Дом советов.

Он устроил там гостиницу «Савой». В ней были кино, и театр, и танцовальные залы. Все богачи, приезжавшие в Гомель, жили в этой гостинице.

Когда началась империалистическая война, через Гомель проходили бесконечные поезда с ранеными.

А в гостинице Шановича попрежнему продолжалось веселье. В начале 1918 года Гомель был занят германскими войсками. В «Савое» жили немецкие генералы и офицеры. Но гражданская война заставила их быстро убраться к себе домой.

К Гомелю подошли части Красной гвардии. Шанович продал кому-то «Савой» и поспешил уехать заграницу.

«Савой» перешел в руки трудящихся; в нем находились советские учреждения.

Мимо «Савоя» проходили красные полки, которые шли воевать с белополяками. С балконов большевики приветствовали их и произносили горячие речи.

В это время офицер царской армии Стрекопытов собирал всех врагов советской власти, чтобы уничтожить коммунаров. Стрекопытов собрал несколько полков, и они пошли на Гомель.

Части Красной армии находились на фронте. В «Савое» был создан штаб обороны города. Штаб обороны роздал оружие всем коммунистам, которые находились в Гомеле, а их было очень немного.

Стрекопытов ворвался в город. В течение нескольких часов небольшие отряды коммунаров боролись с этой дикой бандой. Полки Стрекопытова грабили жителей и зверски убивали коммунаров.

Коммунистов становилось все меньше и меньше.

Наконец, их осталось всего 150 человек. Но они не думали сдавать город.

Они отступили в «Савой» и продолжали стрелять. Из окон «Савоя» они выставили пулеметы. Из Брянска должно было подойти подкрепление. Они ждали его с минуты на минуту.

Штаб Стрекопытова находился на вокзале, в вагоне, а комендатура помещалась на б. Новиковской улице (теперь она называется ул. Карповича), в том доме, где я теперь живу.

И вот Стрекопытов отдал приказание— взять во что бы то ни стало «Савой» и всех коммунаров убить. В парке установили два орудия. Начали обстреливать гостиницу.

Помощь красным из Брянска все не подходила. Через два часа «Савой» был почти разрушен. Там оставалось всего 65 человек. Войска Стрекопытова захватили «Савой». Многих коммунистов они убили тут же, на месте, а некоторых увели в тюрьму. А самых главных руководителей отвели в штаб Стрекопытова.

На утро к Гомелю подошли из Брянска части красных, и Стрекопытов бежал со своей бандой.

В этот день в «Савое» было назначено собрание всех коммунистов.

23 коммуниста были изрублены отступавшими войсками Стрекопытова. Через несколько дней нашли их обезображенные тела и похоронили в братской могиле в городском саду.

А бывший «Савой» теперь отстроили, и он носит название Дома советов.

Письмо с неба

Это письмо принес в редакцию один мальчик.

— Я живу на Кропоткинской улице,— сказал он,— и к нам во двор с неба упала ручка от молотка. К ней было привязано это письмо. Оно адресовано вам. Откуда оно взялось,— я не знаю.

Мы прочли письмо и спросили мальчика:

— Может его кинули с верху?

— Нет. В нашем дворе всего один дом, и в нем два этажа. Письмо упало с неба.

Мы подумали и решили напечатать это письмо. Пусть все наши читатели посоветуют, как помочь Шуре и Геле.

Однажды мы решили построить автомобиль с настоящим мотором. Все части у нас уже были, мы достали мотор. И, когда уже приступили к постройке автомобиля, неожиданно обнаружили, что у нас не хватает несколько гаек. Мы пошли на поиски во двор. Около помойной ямы валялся кусок какого-то металла. В кузнице нам сделали из этого куска гайки. Через месяц автомобиль был готов. Мы решили испытать его на Ленинградском шоссе, взяли на всякий случай инструменты и пошли. За нами побежали все ребята.

Шура сел в кабину, Геля — у руля. Геля запустил мотор, и вдруг произошло удивительное явление: наш автомобиль резко рванулся вперед и начал отделяться от земли. Все ребята разинули рты.

— Куда ты правишь?! — крикнул Шура.

Геля ничего не отвечал, только повернул голову.

Мы все были поражены поведением нашего автомобиля.

Между тем он подымался все выше и летел все быстрей. Остановить его было нельзя, — это значило разбиться насмерть.

Скоро от быстрого полета мы потеряли сознание, и удивительно, как мы не выпали из машины!

Очнулись мы уже на твердой почве. Сначала мы подумали, что находимся на земле. Но здесь все было совершенно по-иному. Недалеко от нас росло маленькое дерево. Оно доходило нам до плеча. Листья на этом дереве были, как стекло: прозрачные и твердые. Шура хотел подойти к этому дереву, вдруг Геля закричал:

— Шурка! Что с машиной?

От почвы подымался какой-то странный пар. Он окутал машину, и мы увидели, как она начала распадаться и пропадать на наших глазах. Вероятно, в этом паре было много какой-то очень сильной кислоты, которая раз'ела части машины.

Мы не знали, что предпринять. Машина исчезала на наших глазах. Вдруг Геля заметил, что в прежнем состоянии остаются только несколько частей машины. Сначала мы ничего не могли понять. Потом Шура говорит:

— Посмотри: ведь эти части скреплены теми гайками, которые нам сделали в кузнице. Наверно, металл, который мы нашли во дворе, какой-то особенный.

Мы стали думать, что это за металл. Геля долго рассматривал одну гайку, а потом сказал:

— Мне кажется, этот металл очень похож на почву этой планеты.

— Геля, а может быть, это осколок этой планеты? Может, он упал к нам на землю? Тут мы стали вспоминать и вспомнили, что бабушка нам рассказывала, как 250 лет назад в нашем районе упал метеор. Вероятно, кусок, который мы нашли во дворе, был частью этого метеора.

Тогда нам стало понятно и поведение нашего автомобиля.

Вероятно, кусок метеора, как только мы придали ему движение, был притянут обратно планетой, от которой он оторвался.

Так или иначе, но мы оказались совершенно неожиданно на неизвестной нам планете. Машины у нас теперь не было, и мы пошли по планете. Идти почему-то было тяжело. Мы делали большие шаги, но ноги становились почти рядом. Шура хотел сказать об этом Геле и повернулся к нему, Геля шел толстый, маленький, а руки у него болтались как у обезьяны. То же самое случилось и с Шурой. Высокое давление атмосферы расплющило нас, и мы стали карликами.

Теперь мы поняли, почему вся растительность и насекомые здесь такие маленькие. Здесь страшно велико атмосферное давление.

Скоро деревья со стеклянными листьями стали попадаться реже. Вместо прозрачных листьев мы увидели кусты с темносиними листьями с красными точками. Геля сорвал один лист и вдруг закричал: вокруг его пальца болтался какой-то красный лоскуток. Шура хотел ему помочь и схватил этот лоскуток, но тоже закричал. Палец его сдавило, он очень заболел и стал синим. Когда, наконец, Геля оторвал от его пальца лоскуток и швырнул его на листья, мы увидели, что этот лоскуток свернулся в комочек и стал красной точкой на листьях.

Позднее мы узнали, что у деревьев и растений здесь есть насекомые, которые его защищают. Так, мы видели один цветок, к которому нельзя было притронуться: из него вылетали небольшие змеи с крыльями, как у стрекозы, и очень сильно жалили.

К нашей радости мы натолкнулись на поляну, где росло растение, похожее на морковь. Мы стали его есть.

Вообще, здесь было все не так, как на земле. Поэтому мы решили назвать нашу планету «Ялмез», что значит «Земля наоборот».

Погода все время жаркая. У Шуры волосы были раньше черные, а теперь стали совсем желтые — так они выгорели. Однажды мы были свидетелями снегопада.

Большое облако плыло над планетой. Вдруг оно быстро понеслось вниз. Мы услышали грохот, и рядом с нами упала целая гора снега, только не белого цвета, а лилового. Вероятно, это зима на «Ялмезе». Снег падает не снежинками, а целыми облаками.

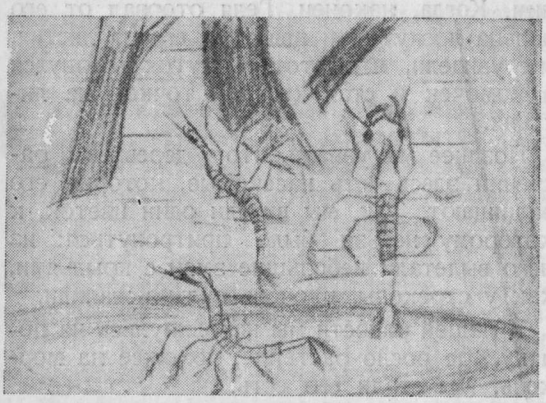
За три месяца, которые мы живем на планете, мы сделали очень много наблюдений. Мы собрали большие коллекции растений и насекомых. Зверей здесь нет совсем, а людей мы пока не видели. Мы знакомы только с одной частью планеты, но сейчас хотим пробраться дальше, хотя это очень трудно. Там плотно стоят растения, все из колючек. У нас нет топора, и поэтому мы заняты сейчас выдергиванием колючек. Геля говорит, что это, может быть, жители (если они есть) нарочно их посадили и сделали вроде крепости.

Сейчас мы очень много думаем над тем, как нам спуститься на землю. Наверное, когда мы спустимся на землю, мы опять

будем нормального роста, а не карликами. Мы не знаем, дойдет ли до вас это письмо. Мы прикрепили его к ручке от молотка и бросили. Если оно дойдет, — подумайте, как нам помочь спуститься на землю. Может быть, как-нибудь поможете.

Шура Рехтер,
Геля Крастин.

Что это за насекомые?



Я недавно купил желтые цветы и поставил их в кувшин с водой.

Через день я в воде от цветов увидал странных насекомых. Они живут сейчас у меня, и их уже очень много. Они прозрачные, имеют 6 лапок с мохнатыми концами и двойниковый мохнатый хвостик. Головка у них плоская и круглая (как диск). На головке у них 2 точечки, как глаза, 4 усика и 2 толстых коротких и загнутых щупальца. Они или сидят на дне в S-образном положении или прикрепляются к стебелькам цветов. Они хорошо плавают. Я их нарисовал во всех трех положениях и посылаю рисунок вам.

Прошу написать мне, что это за насекомые и чем их кормить.

ЯША ГРИЦЕВСКИЙ

Полоскун

Насекомые, которые развелись у тебя в кувшине с водой, — еще не взрослые насекомые. Это личинки водяного жука, так называемого плавунчика, или полоскуна. Этот жук живет в стоячей воде, длиной около 1 сантиметра, окрашен в темнобурый цвет. Его личинки развиваются в воде. Они хищные и питаются разными мелкими водными животными: насекомыми и их личинками, мелкими рачками и т. п. Свои яйца полоскун откладывает весной в подводные части стеблей растений. Очевидно, те желтые цветы, которые ты купил и поместил в кувшин с водой, были цветами какого-либо болотного растения и их собрали на болоте. Вместе со стеблями этих цветов ты и получил яйца полоскуна. В кувшине с водой из яиц вывелись личинки.

Если ты хочешь посмотреть жуков, которые в конце концов получатся из таких личинок, то имей в виду следующее: личинки очень прожорливы и, когда голодны, начинают поедать друг друга: сильные нападают на слабых. Когда личинка станет взрослой, она превращается в куколку. При этом она уходит из воды и прячется где-либо на берегу, около воды.

Там, под камнем, куском дерева, а то и просто в земле, она превращается в куколку, из которой через некоторое время выйдет жук.

Чтобы личинкам было где превратиться в куколку, приготовь для них помещение. Например посади личинки хоть в таз с водой, а сбоку приладь кусок дерна. Можно пустить плавать по воде дощечку с дерном и т. п. Вообще сделай так, чтобы для личинок имелся «берег» с кусочком дерна. Тогда они спрячутся под дерн и превратятся там в куколок. Произойдет это тогда, когда личинкам будет около двух месяцев. Куколки можно положить (с дерном) просто в коробочку.

Н. Н. Плавильщиков

СПОРТ

Всесоюзный комитет физической культуры

Заграницей заниматься спортом трудно. Тот, кто хочет стать спортсменом, должен платить за это или уж бросить все остальные дела и стать спортсменом-профессионалом.

Другое дело у нас в СССР. В каждом городе есть стадион, тир, водные станции, парашютные вышки. Приходи, занимайся тем спортом, который тебе больше нравится. Тебе все помогут, об'яснят, дадут инструктора, инвентарь, оборудование.

Поэтому у нас в СССР миллион физкультурников, сотни тысяч значкистов, сотни тысяч ворошиловских стрелков, тысячи парашютистов — целая армия!

Этой армией нужно управлять, иначе получится неразбериха и беспорядок.

Нужно кому-то утверждать правила, составлять календари игр, строить стадионы, распределять спортивный инвентарь, готовить инструкторов.

Кому заниматься этим делом? Раньше у нас были для этого советы физкультуры. В свое время они неплохо справлялись, но сейчас им стало трудно справляться: уж очень выросла армия физкультурников.

И вот Совет народных комиссаров Союза ССР взял дело физкультуры и спорта в свои руки.

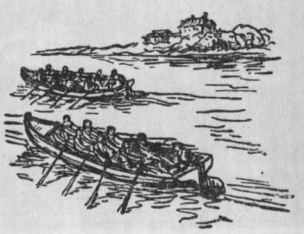
21 июня 1936 года ЦИК СССР и Совнарком постановили образовать при Совнаркоме СССР Всесоюзный комитет по делам физической культуры и спорта.

Председателем этого комитета назначен тов. Харченко, член партии, старый комсомолец.

В 14 лет он уже был в отряде по борьбе с бандитизмом, потом работал на руководящей работе, служил в Красной армии, работал в ЦК ВЛКСМ.

Товарищ Харченко к тому же — и спортсмен. Он без отрыва от работы выучился летать, он хороший стрелок и 30 раз прыгал с парашютом. Товарищ Харченко—член бюро ЦК ВЛКСМ.

Кембридж— Оксфорд



В Англии есть два старинных знаменитых университета: Оксфорд и Кембридж. У студентов этих университетов с давних пор идет спор, кто лучше: кембриджцы или оксфордцы? Они состязаются во всем: кто лучше завязывает галстух, кто лучше боксирует. Но вот уже больше ста лет главный спор идет о том, кто лучше гребет на лодке-восьмерке.

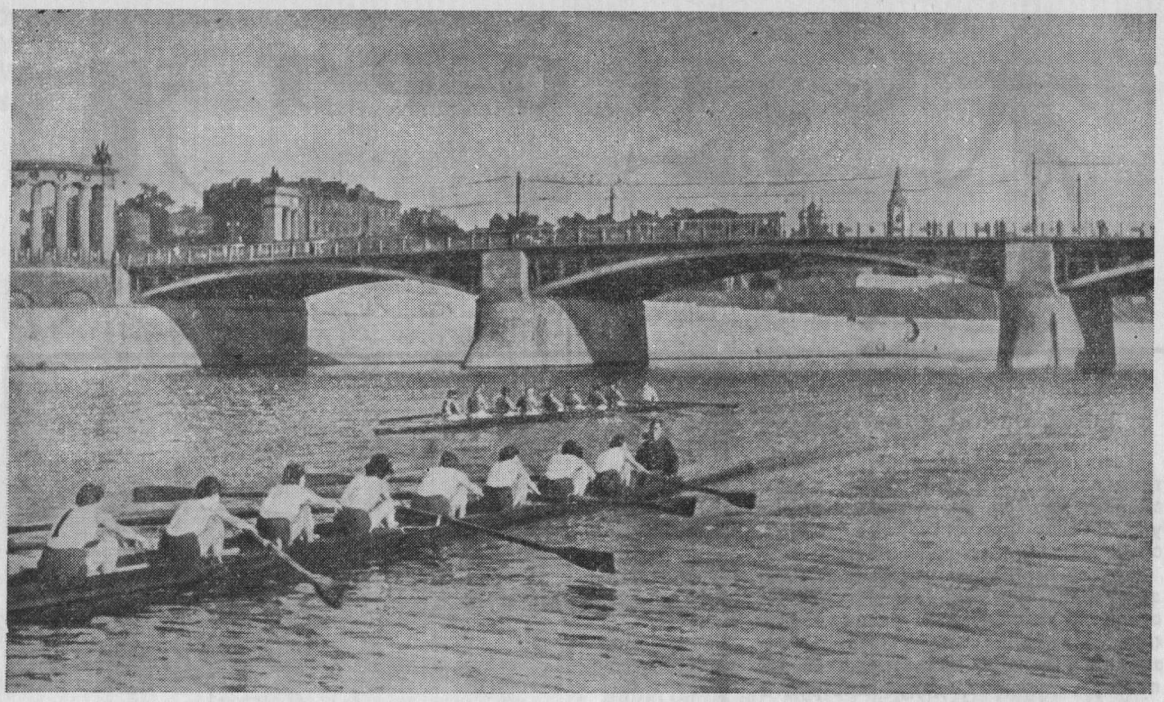
Началось это в 1829 году. Оксфорд вызвал Кембридж, и с тех пор эта гонка происходит почти каждый год. Первый раз ее устроили в окрестностях Лондона, на реке Темзе. Гребли на обыкновенных гичках-восьмерках, какие в то время были на каждом военном корабле. Зрителей собралось немного. На гребцах были длинные суконные брюки, фланелевые рубашки, галстухи, береты. Все они носили бакенбарды и усы.

Постепенно все изменилось. Теперешние гонки Оксфорд—Кембридж непохожи на старые.

Они до сих пор устраиваются на том же самом месте, но с тех пор Лондон вырос, и теперь это место стало чуть ли не центром города.

В день гонок, с утра, на берегу собираются многотысячные толпы болельщиков. Отряды конной и пешей полиции наводят порядок на набережной. К 11 часам утра приезжают участники, выносят лодки, спускают их на воду. И лодки, и весла, и гребцы уже не те, что были прежде. Раньше вся надежда была на силу мускулов гребцов. Потом начали хитрить: лодки стали делать легче и уже, весла — длиннее, скамейки и подножки — удобнее.

Сейчас вместо старых гичек в гонке идут легкие, гладко отшлифованные и отлакированные спортивные лодки, которые только и годятся для гоночной



Тренировка женской восьмерки на Москве-реке.

Скутер и аквапланы

Парус, гребля, плавание и прыжки в воду известны людям очень давно, и долгое время спортсмены — любители воды — ничего нового не могли придумать.

Потом, один за другим стали появляться на воде все новые и новые виды спорта: появились водный велосипед, водные лыжи, водный «футбол»—«уотер-поло». Но самые интересные из новых видов спорта — это скутера и аквапланы.

Аквапланы—это просто маленькая доска. Сама по себе она не может выдержать человека, тонет под его тяжестью. Но если прицепить ее на длинной веревке к быстроходной моторной лодке, то до тех пор, пока лодки. Каждая такая лодка отделывается тщательно, как скрипка.

И гребцы непохожи на прежних: это саженного роста «дяди», без бакенбардов и без усов; вместо шерстяных костюмов на них трусы и легкие майки-безрукавки. Туфли, по ноге каждому, заранее приделаны к подножкам...

В 2 часа начинаются гонки.

Несколько минут лодки идут ровно—нос в нос. Потом одна из них вырывается на полноса, другая догоняет, и так все 6436 метров (4 английские мили) идет борьба за метры и доли секунды.

Теперь рекорд за Кембриджем. В 1934 году команда кембриджцев показала время 18 минут 03 секунды. Это скорость, с которой по Москве ходят трамваи.

С этих гонок на Темзе начался новый вид спорта, который называется «академическая гребля».

Сейчас во всем мире тысячи гребцов-спортсменов на академических лодках каждый день быстро и бесшумно скользят по рекам. Появились академические лодки-четверки, -двойки и -одиночки.

Для гребцов Кембриджа и Оксфорда эти гонки — все. Гребцы этих команд только числятся студентами. От них никто не требует, чтобы они учились. Для них гребля — единственная, но тяжелая обязанность. Тренеры смотрят за каждым шагом своих гребцов, и гребец превращается в невольника, вроде тех, которых в давние времена приковывали к скамейкам галер. Но для того, кто занимается академической греблей не по обязанности, а по своей охоте,— это один из самых замечательных видов спорта.

ка идет полным ходом, на доске можно стоять: она не потонет. Надо только все время удерживать равновесие.

Чтобы легче было удерживать равновесие, на акваплане устроены вожжи. Сейчас многие научились стоять не держась, а есть спортсмены, которые на полном ходу делают на акваплане стойку на голове и на руках, другие забираются на акваплан вдвоем, и на ходу один взбирается другому на плечи, а иногда ставят на аквапланы деревянные фигуры: коней, драконов, слонов и т. д.—и устраивают турниры: берут длинные бамбуковые палки с мешками на концах и стараются спихнуть друг друга в воду.

Скутер — это маленькая моторная лодочка, по виду похожая на большую калошу. Эта лодочка едва удерживает вес человека и мотора. Мотор на ней стоит такой сильный, что на полном ходу она все время выскакивает из воды и прыгает, как водяная блоха.

На скутерах устраивают гонки, фигурную езду и прыжки. При фигурной езде надо делать очень крутые повороты и ехать при этом как можно быстрее. Это очень трудно: если не сбавишь ходу и повернешь слишком круто, скутер захлебнется. А прыжок на скутере — это настоящий трюк. Делается он так: в реке строят трамплин — наклонно поставленные на сваях доски, смазанные салом.

Скутер разгоняется, влетает на трамплин и по инерции летит дальше, пока не шлепнется на воду. Для прыжка нужен точный расчет. Дело в том, что винт скутера глубоко сидит в воде; если его не поднять, он стукнется о доски трамплина и сломается. А когда трамплин кончится, надо очень точно удерживать равновесие, иначе скутер наклонится на бок, зароется носом и, как только коснется воды, опрокинется.

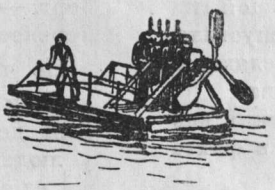
На воде

● Уже 2 тысячи лет назад в Греции плавали на перегонки и знали несколько способов плавания. Не уметь плавать считалось неприличным. Про неграмотного человека греки говорили: «Он не умеет ни плавать, ни читать».

● У римлян приблизительно в то же время было спортивное плавание, гребля и другие виды водного спорта. В 211-м году нашей эры в Риме был построен первый в мире бассейн для плавания. Развалины бассейна сохранились до сих пор.

● Тысячу с лишним лет спустя венецианский купец Марко Поло вернулся из путешествия по Азии. Он рассказывал, что в Индии есть парусные лодки, у которых для устойчивости сбоку на длинных палках приделаны бревна. В то время никто не поверил этому рассказу, но много лет спустя узнали, что индийские рыбаки в самом деле строят такие лодки — эти лодки называются катамаранги. Их строят и сейчас и устраивают на них спортивные гонки.

● В 1798 году появился замечательный снаряд для обучения плаванию — «удочка». Сделана она просто: на конце длинной палки привязана веревка с брезентовой петлей. Ученик влезает в эту петлю и плывет, а инструктор идет по берегу и, если нужно, чуть-чуть поддерживает пловца.

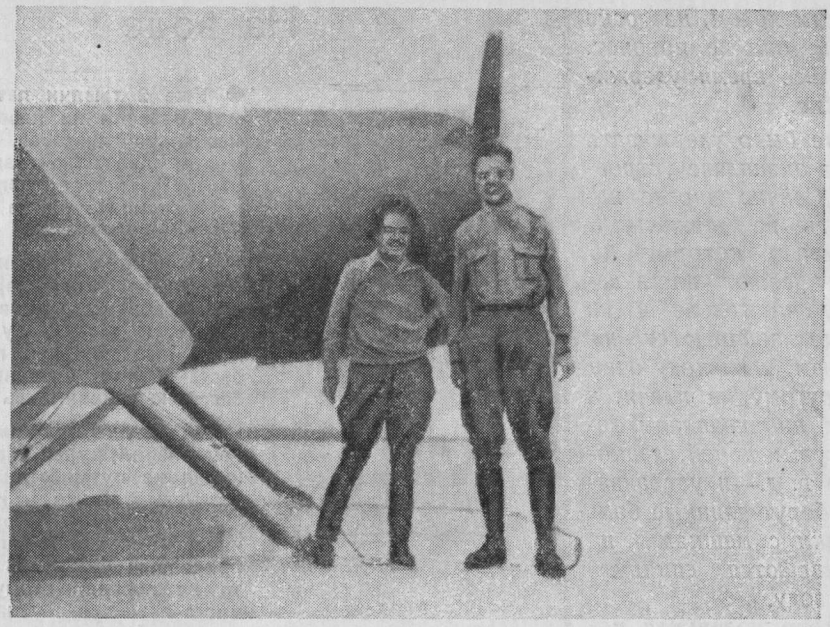


● В 1903 году во Франции был построен первый в мире глиссер с воздушным винтом. Этот глиссер на вид был довольно неуклюжим и ходил не очень быстро, но от него взяли свое начало современные глиссеры и быстроходные моторки, которые несутся по воде со скоростью больше 100 километров в час.

● В 1915 году английское правительство решило использовать спортивные моторки для борьбы с немецким подводным флотом. Маленькие верткие лодочки, вооруженные торпедами, как москиты нападали со всех сторон на вражеские корабли. С тех пор стали строить специальные торпедные катера. Их называют «москитным флотом».

● Хотя моторный водный спорт развился очень сильно, но и парусный и гребной спорт и плавание все время идут вперед.

● В 1929 году француз Жербо один обошел вокруг света на маленькой парусной яхте.



ЛИНИЯ ДАТ

В 1931 году американский летчик Чарльз Линдберг летел на гидросамолете из города Нома на Аляске в столицу Японии—Токио. По дороге ему нужно было перелететь через Камчатку.

16 августа, в 3 часа дня, небольшой гидро с яркооранжевыми крыльями спустился на воду в проливе Литке, отделяющем Камчатку от Карагинского острова.

Самолет был укреплен на плавучих якорях, и Линдберг пошел отдыхать в факторию на Карагинском острове.

— Когда вы вылетели из Нома? — спросил гостя начальник фактории.

— 15 августа, в 4 часа утра. И летел всего десять часов, — ответил Линдберг.

Все невольно посмотрели на отрывной календарь, висевший над столом. На нем ясно было напечатано: 16 августа!

Летчик заметил всеобщее недоумение, рассмеялся и сказал:

— Да, правда, я летел только десять часов, а по календарю выходит полторы суток. Время летело быстрее моего самолета! Но если бы завтра, 17 августа, я повернул отсюда обратно в Ном, то случилось бы еще более удивительная вещь: я прилетел бы в Ном 16 августа! Время повернуло бы назад.

Все заговорили сразу. Как это может быть? Куда девались сейчас у Линдберга сутки, и откуда у него возьмутся лишние сутки, если он завтра вернется в Ном?

— Дело в том, — продолжал Линдберг, — что между Аляской и Камчаткой я перелетел «линию дат».

Но что же такое «линия дат»?

Если мы поедем на запад, то у нас каждый день будет немножко длинней, чем у людей, остающихся на месте. Ведь мы же едем в погоню за солнцем! А если мы поедем на восток, то день станет у нас короче. И не только день, но и ночь укорачивается у того, кто едет навстречу солнцу — на восток, и удлиняется у того, кто едет за солнцем — на запад.

Меняется длина суток.

И когда путешественник, поехавший на запад, об'едет вокруг всей земли, он с удивлением увидит, что по его календарю прошло на сутки меньше, чем по календарю людей, никуда не ездивших. Он приезжает... «накануне» своего приезда!

А тот, кто поедет на восток, об'ехав землю, неожиданно обнаружит, что он напрасно состарил себя на сутки: на всех календарях, кроме его собственного, он уви-

дит вчерашнее число. Наш восточный путешественник приедет... «завтра» — на другой день после своего собственного приезда!

Произойдет это от того, что у «западного» путешественника сутки длиннее, а у «восточного» — короче, чем у тех, кто не едет никуда.

И вот, чтобы не было путаницы с календарем, и решили ввести «линию дат». При переезде через эту линию едущие в восточном направлении должны отбросить один день, а едущие в западном направлении — прибавить. А чтобы это не приводило к еще большей путанице, провели эту «линию дат» в самых глухих и пустынных местах, в Великом океане, по меридиану, на 180° долготы отстоящему от меридиана, проходящего через город Гринвич в Англии. «Линию дат» придумали для кораблей, но корабли ходили медленно. Пока доберется корабль до порта назначения, глядишь: прибавка или убавка суток станет уже незаметной.

Но когда появились быстрые самолеты, «линия дат» стала приводить к смешным случаям. Вот как с летчиком Линдбергом, который прилетел на остров Каратинский на другой день после того, как он прилетел на самом деле!

Мраморные слоны

Эти мраморные статуи слонов стоят по бокам дороги, которая ведет к могилам китайских богдыханов. Могилы считали священными. Они находятся в 50 километрах от Пекина. Дорога к ним тянется несколько километров. Таких статуй по бокам ее — сотни. Они поставлены несколько веков тому назад.

Самодельная плотина

А. Некрасов

Сколько труда, знаний и смелости понадобилось хотя бы для того, чтобы перегородить бетонной плотиной такую реку, как Днепр!

Да что там Днепр! Какая-нибудь крошечная речушка, которая вертит колесо колхозной мельницы, сколько она доставляет забот и неприятностей людям, которые заставили ее работать. Мельник каждое утро внимательно осматривает плотину и дамбы. И если уж где, в неположенном месте, просочилась хоть капелька воды,— значит, дело плохо. Сегодня там капелька, завтра будет струйка, послезавтра — ручеек, а там, глядишь, и весь мельничный пруд с карасями и с лягушками ухнет в промоину и утащит с собой и дамбу и плотину, а то и самую мельницу.

Да и не мудрено: ведь в воде, которую держит плотина, заключена страшная силища. Вот небольшой квадратный прудик, 50 метров длиной, 50—шириной и 3 метра глубиной. Много ли в нем воды? Оказывается, порядочно: чтобы увезти эту воду в железнодорожных цистернах, понадобился бы состав в 470 цистерн — поездов десять! И если такой состав раскатится с горки, он что угодно сокрушит на своем пути.

Поэтому, прежде чем строить настоящую плотину, канал или шлюз, инженеры изучают, высоко ли подымалась вода в самые многоводные годы, низко ли падала в засушливые, измеряют скорость течения, разведывают грунт, делают тысячи подсчетов и только тогда уже составляют проект будущего сооружения.

Сейчас об этих сооружениях написано много книжек, составлено много формул и таблиц. Однако лучшими инженерами-гидротехниками считаются те, которые знают свое дело не только по книжкам, но и на практике.

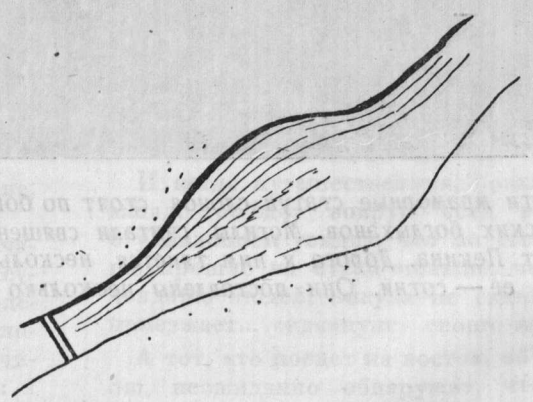
Поэтому мы пока что не будем заниматься теорией водяных сооружений, а сразу приступим к практике.

Найдем какой-нибудь ручей. Представим себе, что это не ручей, а мелкая порожистая и быстрая река, которую надо превратить в судоходную. Прежде всего надо решить, на какую глубину придется рассчитывать будущий водный путь. Когда это известно, надо промерить глубину ручья и в тех местах, где она будет меньше нужной, поднять воду.

Для этого нужно построить плотину. Если пороги и мели на ручье сосредоточены в одном месте и берега по сторонам высокие, тогда можно обойтись одной плотиной. Если же ручей на всем протяжении несудоходен, придется разбить его на несколько бьефов. Бьеф — это участок между двумя плотинами.

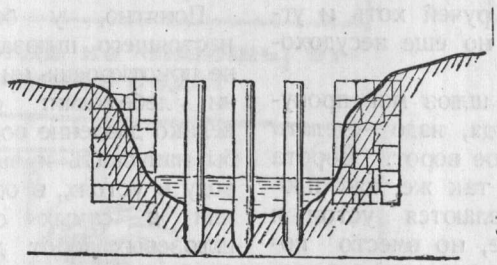
Место для плотины нужно выбирать так, чтобы берега были достаточно высоки для нужного под'ема воды; если не удастся выбрать такого места, придется кроме плотины строить еще дамбу—вал на берегу.

Перед постройкой нужно обследовать бьеф по всей длине и посмотреть, нет ли по берегам низких мест, куда может уйти вода. Если есть такие места, их тоже придется загородить дамбами. Можно,



Для плотины надо выбрать место, где река сужается.

впрочем, использовать низины как водохранилища, тогда после установки плотины в них наберется вода, которая потом поможет поддерживать в бьефе постоянный уровень, или режим, как говорят специалисты. Нужно еще учесть, что у самой плотины вода разольется, значит, лучше выбирать такие места для плотины, где ручей сужается.



Если плотина длинна, придется вбить сваи, чтобы поддерживать доски.

Теперь можно строить самую плотину. Для этого есть несколько способов, но, как бы ни делалась плотина, всегда самыми важными частями будут устои, то есть части, которые соединены с берегом. Нужно сделать их попрочнее, чтобы вода не подмывала их, иначе плотины хватит не надолго. Если плотина небольшая, ее можно строить, не останавливая и не отводя ручья.

Тогда устои надо заготовить заранее. Они сколачиваются из досок как плоские ящики и туго набиваются глиной с камешками. Когда устои готовы, для них в берегах выкапывают углубления так, чтобы нижний край устоя стоял ниже дна не меньше чем на ¼ своей высоты. Чтобы устои держались прочнее, их можно укрепить сваями—кольями, вбитыми прямо в дно. Когда устои будут поставлены, все пространство между выемками берега и досками устоев надо забить глиной, смешанной с камнями или с мелкими ветками.

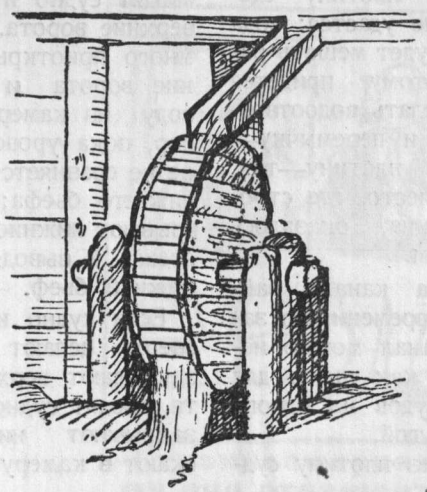
Так же важно сделать хорошее основание плотины.

В больших плотинах постройка основания—очень трудное и ответственное дело. Надо докопаться до твердого грунта и положить основание так, чтобы оно выдерживало давление воды и самой плотины да еще не пропускало под собой ни капельки воды.

Нам будет проще: мы возьмем доску потолще и, прокопав на дне канавку по возможности глубже, всунем в нее доску так, чтобы концы ее хватили от устоя до устоя. Потом закрепим доску сваями и сверху с той стороны, откуда течет вода, навалим побольше глины с ветками.

Вот наша плотина и готова. Осталось поднять воду. Для этого нужно положить на основание доску так, чтобы она краями опиралась на устои. На эту доску положить вторую и т. д. до нужной высоты. Эти доски можно ничем не укреплять: вода сама будет плотно прижимать их к устоям. Но на всякий случай лучше вбить два ряда свай около устоев, повыше досок, чтобы они не развалились. Если плотина длиннее, доски не выдержат—прогнутся, тогда придется укрепить их сваями, вбитыми ниже, так, чтобы доски опирались на сваи.

В щели между досками



Жолоб и наливное колесо.

будет сочиться вода — это нестрашно. Дерево вода не размоет. Зато если вода пойдет из-под устоев или из-под основания, тогда дело плохо: надо заново все укреплять. Грунт вода размоет очень быстро, подмоет устои и завалит всю плотину.

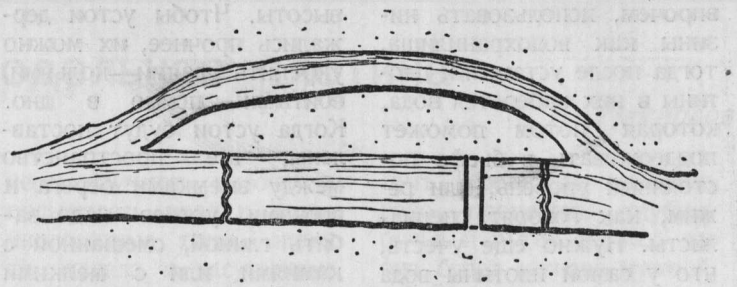
Дамбу тоже надо сделать так, чтобы вода сквозь нее не сочилась. Лучше всего на месте будущей дамбы вбить ряд колышков, переплести их веточками и сверху засыпать глиной или землей: такая дамба будет служить хорошо.

Когда вода поднимется, заполнит водохранилища и дойдет до верхнего края плотины, она водопадом будет падать вниз. Этот водопад очень скоро промоет под плотиной яму, и плотина может обрушиться. Поэтому надо укрепить то место, куда будет падать вода, досками или камнями. Можно использовать силу водопада—устроить жолоб из досок и наливное колесо.

Большую плотину сделать так не удастся: вода все время будет мешать работе. Поэтому придется сначала сделать водоотводный канал и перемычку—временную плотину—так, чтобы то место, где строится плотина, оказалось почти сухим.

Постройка канала займет много времени, но зато этот канал можно использовать как шлюз для пропуска судов из одного бьефа в другой.

Ведь через плотину судно не может пройти: стало быть, пока шлюзы не сделаны, ручей хоть и углублен, но еще несудоходен.



Перемычки и водоотводный канал.

Чтобы шлюз мог пропускать суда, надо сделать в нем двое ворот. Ворота строятся так же, как плотина: делаются устои и основание, но вместо поперечных досок делают створки на петлях.

Когда нужно пропустить судно из верхнего бьефа в нижний, закрывают нижние ворота шлюза и дают воде подняться вровень с верхним бьефом. Когда уровень воды в шлюзе и в верхнем бьефе сравняется, в камеру (часть канала между воротами) вводят судно и закрывают верхние ворота. Потом немного приоткрывают нижние ворота и выпускают воду из камеры до тех пор, пока уровень в камере не сравняется с уровнем нижнего бьефа; тогда открывают нижние ворота настежь и выводят судно в нижний бьеф.

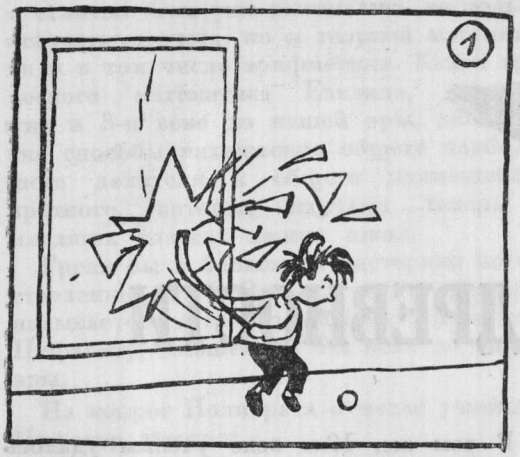
Если судно идет снизу вверх, делают наоборот: закрывают верхние ворота, вводят судно в камеру, закрывают нижние, пускают в камеру воду и выводят судно в верхний бьеф.

Понятно, у большого, настоящего шлюза ворота не приоткроешь ни руками, ни лебедками: слишком велико давление воды. Чтобы напускать и выпускать воду в устоях, в основании или в самых створках шлюзовых ворот делаются «окна» — отверстия, которые можно открывать и закрывать особыми щитами.

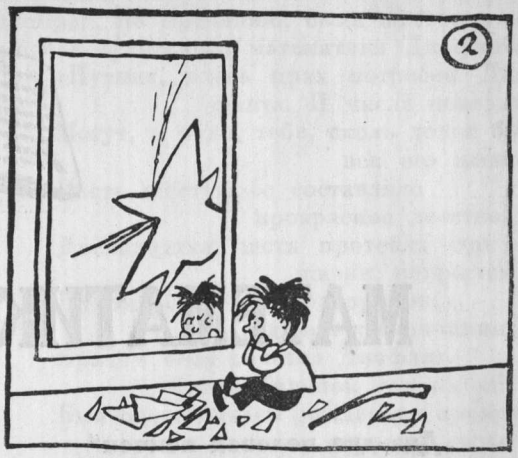
Можно сделать «окна» и на нашем шлюзе. Для этого в нижней части каждой створки надо прорезать квадратные дыры и приладить дощечки, которые будут закрывать эти дыры. Чтобы дощечки не отваливались, по краям их, в створку, надо вбить несколько гвоздей с широкими шляпками. Вот когда шлюзы будут готовы, можно считать, что ручей стал судоходным, и пропустить по нему модель судна.

Но, чтобы вода не разрушила всех сооружений, надо каждый день следить за дамбами, устоями и основаниями и, как только появятся промоинки, сейчас же ремонтировать поврежденное сооружение.

Папа и зеркало



—Никогда не знаешь, откуда придет беда.

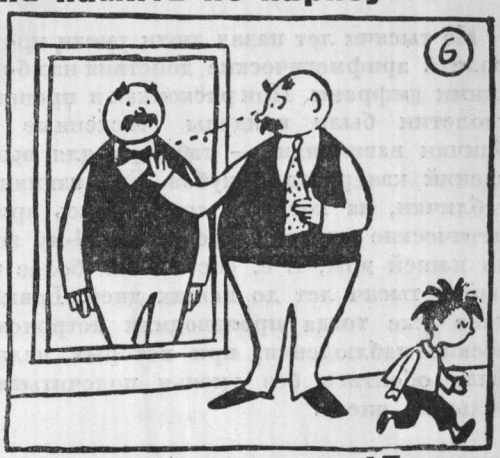


—Что делать?

— Давай-ка я выбью остальное.

— Неужто я своего папу на память не нарисую?

— Как живой!



—Странное зеркало! Почему оно отражает другой галстук?

МАТЕМАТИКА ДРЕВНОСТИ

„Два-два человек кончен“

Арифметика по-гречески значит искусство счета. Считать умели люди в самые древние времена. Но как они считали? По пальцам. После того как люди усвоили понятия «один» и «два», они уже занялись первым арифметическим действием — сложением. Чтобы сказать «три», они говорили «два-один», вместо четыре — «два-два». Число «5» было у них — «рука», 6— «один на другой руке», 7 — «два на другой руке», 10 — «две руки», 11 — «один на ноге», 15 — «целая нога», 16 — «один на другой ноге», 20 — «один человек», или «один человек кончен». Нелегко было считать. Ведь для того, чтобы сказать 87, нужно было произнести целую фразу: «два-два человек кончен и два на другой руке».

Численные таблички

Но тысячи лет назад люди умели производить арифметические действия над большими цифрами. При раскопках в прошлом столетии были найдены численные таблички вавилонян — таблицы для вычислений квадратов и кубов. Эти глиняные таблички, на которых сохранились арифметические знаки, относятся к 24-му веку до нашей эры, т. е. составлены более четырех тысяч лет до наших дней. Вавилоняне уже тогда производили астрономические наблюдения, при которых нельзя было обойтись без уменья подсчитывать большие числа.

В том же, 19-м веке ученым удалось расшифровать записи на египетских папирусах. Поэтому известно, что египтяне много знали в арифметике и геометрии.

Египетская задача

Один такой папирус, который известен под названием «папирус Голенищева», хранится в нашем московском Музее изобразительных искусств. Этот папирус относится к 19-му веку до нашей эры. Другой — «папирус Ринда» — хранится в Британском музее. В этом папирусе сказано, что он переписан жрецом Ахмесом с древних рукописей. Ученые полагают, что он составлен еще в 17-м веке до нашей эры. В этих папирусах нет общих правил и теорем, но есть задачи и решения этих задач.

Вот одна из задач «папируса Ринда»: «Смотри, теперь приходит этот пастух над скотом с 70 быками». Сказано этим счетчиком скота этому пастуху рогатого скота: «Сколько скота приводишь ты из своего многочисленного стада?» Ему сказано пастухом: «Я привожу тебе две трети от трети скота; определи его мне, сочти его мне, я хочу найти, я хочу сосчитать».

Как видите, египтяне знали не только арифметические действия над целыми числами, но и над дробями.

В папирусе указано и решение этой задачи. Но вам это решение ненужно. Вы и сами сумеете решить задачу, которую за 4600 лет до нас решали только ученые египтяне.

Математика в стихах

Греки многому научились у вавилонян и египтян. Они уже занимались не только искусством счета, но и теорией математики и в том числе арифметики. Книги греческого математика Евклида, который жил в 3-м веке до нашей эры, дают такие способы нахождения общего наибольшего делителя и общего наименьшего кратного, которые изучают теперь в младших классах наших школ.

Греки были большими мастерами по составлению задач. Вот задача, которая приписывается древнегреческому философу Пифагору, жившему в 6-м веке до нашей эры.

На вопрос Поликрата о числе учеников Пифагор ответил:

«Их половина себя посвящает прекрасной науке
И математику здесь изучает. Природы бессмертной
Четверть познанью себя отдает; часть же седьмая в молчаньи
Время проводит, отдавши себя размышленьям; три девы
Есть еще в доме моем; среди них всех мудрее Теано».

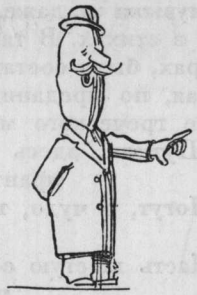
Скажите, сколько же было учеников у Пифагора?

Пифагор обучал своих учеников не только философии и математике, но и теории музыки и даже, как видите, задачи писал в стихах. В таких же стихах, в гекзаметрах, была составлена задача-надпись, которая, по преданию, была высечена на могиле греческого математика Диофанта:

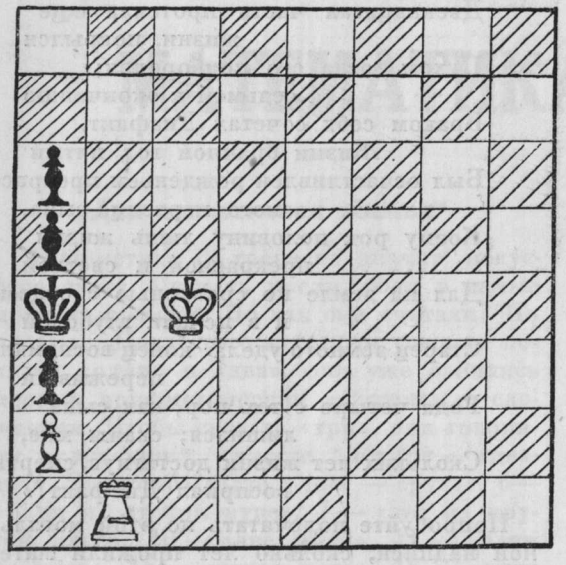
«Путник, здесь прах погребен Диофанта. И числа поведать
Могут, о чудо, тебе, сколь долог был век его жизни.
Часть шестую ее составляло прекрасное детство;
Двенадцатая часть протекла еще жизни, покрылся
Пухом тогда его подбородок; а седьмой к окончанию
Браком себя сочетал Диафант. Жизни брачной год пятый
Был осчастливлен рожденьем прекрасного первенца-сына,
Коему рок половину лишь жизни прекрасной и светлой
Дал на земле по сравненью с отцом, и в печали глубокой
Старец земного удела конец воспринял, переживши
Года четыре с тех пор, как сына лишился; скажи мне,
Скольких лет жизни достигнув, смерть воспринял Диофант?»

Попробуйте подсчитать по этой могильной надписи, сколько лет прожили математик Диофант и его сын.

Решать не обязательно в стихах, можно и в прозе.



Загадки доктора Каррабелиуса



Затруднительное положение

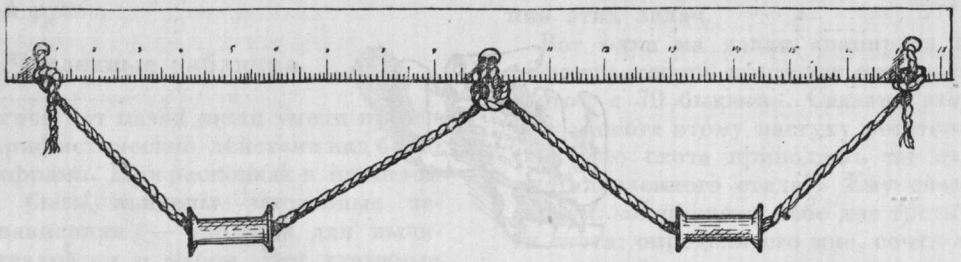
У игроков после ходов 1. Л h1—b1 + Крb4—a4; 2. Крd3—c4 a7—a6 получилась позиция, изображенная на диаграмме. Черные решили, что это «ничья».

И в самом деле: ладьей уйдешь — черному королю пат, королем уйдешь—тоже пат... Но белые не пожелали идти на «ничью» и ровно через четыре хода дали черным мат.

Попробуйте-ка вы дать мат черному королю в четыре хода.

ШУТОЧНЫЕ ВОПРОСЫ

1. С какой птицы надо ощипать перья, чтобы получить сразу утро, день, вечер и ночь?
2. Какая буква и число составят горячую воду?
3. К какой науке надо прибавить одну букву, чтобы получилась отрасль пищевой промышленности?
4. Какая буква с деревом доставляют неприятности капитанам кораблей?



„Невозможная“ головоломка

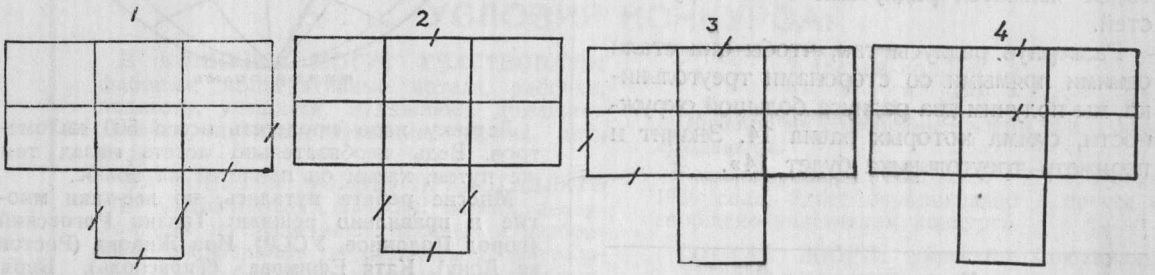
У всякой линейки бывает только одна дырка. У этой линейки их три. Прорезал я их потому, что иначе головоломка не получается.

К линейке я привязал шнурок с надетыми на него катушками, точь-в-точь как на рисунке.

А теперь вам задача: переправьте ту катушку, которая направо, к той катушке, которая налево, чтобы слева были две катушки. Можете делать наоборот — левую катушку отправить к правой. Только одно условие — шнурок развязывать нельзя и увеличивать среднюю дырку тоже нельзя.

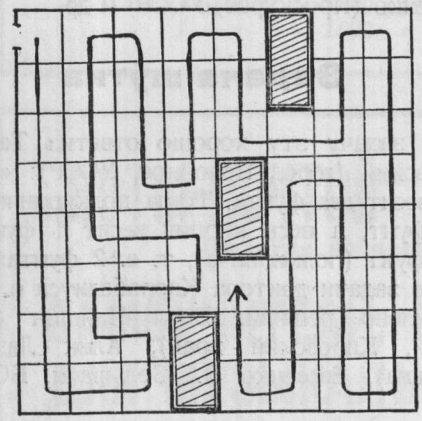
Сначала, конечно, покажется, что сделать это невозможно, потому что средняя дырка мала и катушка в нее не пролезет. Это верно: катушка не пролезет, но разрешить эту головоломку все же можно и даже очень легко. Попробуйте, решите!

Четыре проекта



Задача легкая — решили ее многие ребята: Шура Герасимов (Ленинградская область, почтовое отделение Парфино), Игорь Смирнов (Москва), Лида Арефьева (Свердловск), Юра Турченко (Харьков), Тадзик Роговский (город Полонное, УССР), Имант Лац (Одесса).

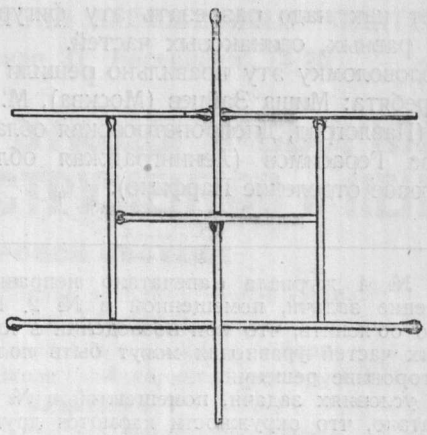
Полотер



По-разному, но правильно решили задачу «полотер»: Юра Турченко (Харьков), Лида Арефьева (Свердловск), М. Хейкин (Павлоград, Днепропетровская область), Катя Ефимова (Тирасполь), Оля Флоровская (Одесса), Боря Менделевич (Москва), Миша Зайцев (Москва), Тадзик Роговский (город Полонное, УССР), Умант Лац (Одесса), Шура Герасимов (Ленинградская область, почтовое отделение Парфино), Зоя Важенина (Ростов на Дону).

Девять спичек

Это трудная задача, но мы получили много разнообразных решений ее. Зоя Важенина (Ростов на Дону), например, сделала четыре квадрата, надломив спички (согнув их). Ира Живова (Ростов на Дону) вышла из положения, наложив 2 спички сверху, поперек трех.



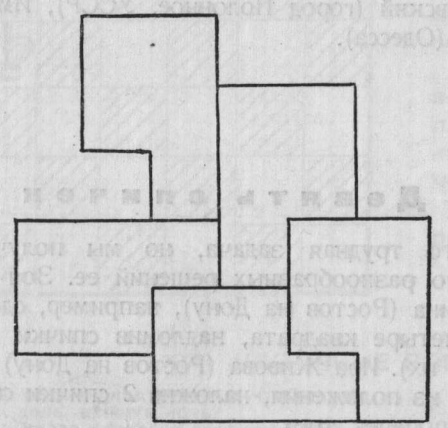
Так, как нарисовано здесь, расположили спички М. Хейкин (Павлоград, Днепропетровская область), Олег Серебряков и Толя Черков (Гомель), Н. Смирнов (Ленинградская область, деревня Ключевицы).

Хороший ли ты математик?

Это очень трудная задача, и мало кто решил ее. Вот решение Шуры Герасимова: «Разделив в точке касания маленьких окружностей нижнюю сторону (основание) треугольника, мы получим два отрезка, которые являются радиусами этих окружностей.

Развернув радиусы так, чтобы они стали одними прямыми со сторонами треугольника, мы получим два радиуса большой окружности, сумма которых равна 14. Значит и периметр треугольника будет 14».

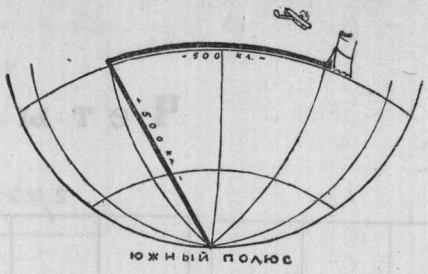
Головоломка



Вот как надо разрезать эту фигуру на пять равных, одинаковых частей.

Головоломку эту правильно решили многие ребята: Миша Зайцев (Москва), М. Хейкин (Павлоград, Днепропетровская область), Шура Герасимов (Ленинградская область, почтовое отделение Парфино).

500+500=?



Летчику надо пролететь всего 500 километров. Ведь необязательно лететь назад тем же путем, каким он прилетел на полюс.

Многие ребята путались, но все-таки многие и правильно решили: Тадзик Роговский (город Полонное, УССР), Ира Живова (Ростов на Дону), Катя Ефимова (Тирасполь), Боря Менделевич, Юра Турченко (Харьков).

Что это такое?

«Животное — броненосец и военный корабль — броненосец»,— правильно ответили Тадзик Роговский, Катя Ефимова (Тирасполь), Шура Герасимов (Ленинградская область, почтовое отделение Парфино), Миша Турченко (Проскуров, УССР) и др.

Задача-шутка

На задачу эту хорошо ответил Тадзик Роговский (город Полонное, УССР): «Кирпич весит два фунта. Тогда полкирпича весит фунт, а весь кирпич весит 1 фунт + + 1 фунт (полкирпича), т. е. 2 фунта».

Все задачи доктора Каррабелиуса в № 4 правильно решили: Боря Паншин (Воткинск, Кировский край), Алик Лазарев (Москва), Евсеенко Э. (Бельшачи, БССР)

ПОПРАВКА

В № 4 журнала напечатано неправильное решение задачи, помещенной в № 2. Нужно было об'яснить, что при возведении в квадрат обеих частей уравнения могут быть получены посторонние решения.

В условиях задачи, помещенной в № 4, напечатано, что окружности касаются друг друга в общей точке. Следует читать: все три окружности имеют попарно по общей точке. В той же задаче вместо слов «два неравных круга» надо читать: две окружности разных диаметров; там, где одна и та же фигура называется то «круг», то «окружность», надо читать окружность.

В небольшой части тиража допущена опечатка. На стр. 65, четырнадцатая строка снизу, вместо «к западу» следует читать — «к востоку».

Ответ. редактор **Б. ИВАНТЕР** Худ. редактор **М. АСКИНАЗИ**

Сдано в набор 26/VI 1936 г. Подписано к печати 10/VII 1936г. Изд. № 676. 1/16 листа. Формат 82×110 см.

Уполномоченный Главлита № Б-25592 282×110—1/16 бум. листа, 38 400 печ. зн. в печ. листе. 16 п. л.

Типография газеты „Правда“ им. Сталина, Москва, ул. „Правды“, 24. Зак. № 1354 Тираж 75 000

СОЮЗКУЛЬТТОРГ НАРКОМВНУТОРГА СССР

ОБЪЯВИЛ

ВСЕСОЮЗНЫЙ КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ КУКЛУ

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:

В КОНКУРСЕ МОГУТ УЧАСТВОВАТЬ: фабрики, кооперативные артели, рабочие, педагоги, учащиеся, художники, домашние хозяйки, пионерорганизации, школы, дети и др.

НА КОНКУРС МОЖНО ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОБРАЗЦЫ ЛЮБЫХ КУКОЛ: мягких, целлулоидных, из папье-маше, цельных и разборных, фарфоровых и резиновых, театральных, би-ба-бо, с убранством и без убранства, и отражающих национальные особенности народов СССР.

Образцы присылать (или приносить лично) в отдел игрушек Союзкультторга — Москва, Кузнецкий Мост, 18, телефон 3-61-86 с указанием адреса автора.

ТАМ ЖЕ МОЖНО ПОЛУЧАТЬ ВСЕ СПРАВКИ.

СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗЦОВ на конкурс — с **15 июня** по **1 сентября 1936 года.**

ЗА ЛУЧШИЕ КУКЛЫ БУДУТ ВЫДАНЫ ПРЕМИИ:

1 премия в 3.000 руб.
1 » » 2.000 »
2 премии по 1.000 »
4 » » 750 »

Образцы не одобренных жюри кукол возвращаются.

Решение жюри состоится 15 сентября 1936 года, будет опубликовано в прессе и сообщено участникам конкурса.

СОСТАВ ЖЮРИ: директор Союзкультторга **БЕЗДЕЖСКИЙ С. Б.** (председатель), заслуженная артистка республики — директор Центрального детского театра — **САЦ Н.** (зам. председателя), начальник отдела игрушек Союзкультторга **МАРЬЯСИН М. А.** (секретарь), **ЛЮХИН** (ЦК ВЛКСМ), **СТРОЕВ А. Я.** (редактор газеты «Пионерская правда»), заслуженный художник **РЫНДИН В. А.**, проф. **АРКИН Е. А.** (Институт охраны здоровья детей и подростков), художники **ВИЛЬЯМС В. Р.**, **ЕФИМОВА Н. Я.**, **ЕФИМОВ И. С.**, **ОБРАЗЦОВ С. В.**, стахановки Загорской фабрики игрушек имени Красной армии тт. **ЛОБАНОВА** и **ТРОФИМОВА**, стахановка московской артели «Художественная игрушка» **СУЛИМОВА А. Т.**

„НОТЫ-ПОЧТОЙ"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НОТНЫЙ МАГАЗИН МОГИЗ ВЫСЫЛАЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ

(задатки не принимаются), Москва 31, Неглинная, 14/20

САМОУЧИТЕЛИ, ШКОЛЫ, ЭТЮДЫ и СБОРНИКИ ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ и ПЕНИЯ

ПО НОТНОЙ ИЛИ ЦИФРОВОЙ СИСТЕМЕ

Самоучитель для гитары (7-ми стр.) **Иванова** . . . . . 3 р. 50 к.
Самоучитель для мандолины **Александрова** . . . . . 1 р. 40 к.
Сборник танцев и маршей для мандолины **Розова** . . . . . 1 р. 10 к.
Самоучитель для гармоники 2-х рядн. венск. 21 клавиш, 12 басов, русско-немецк. строй **Сергеев** и **Голубев** . . . . . — 70 к.
Сборник танцев для гармоники 2-х рядн. **Голубева** . . . . . 1 р. —
Сборник песен, танцев и маршей для гармоники 2-х рядн. **Новосельского** . . . . . 1 р. 20 к.
Самоучитель для балалайки **Илюхина** . . . . . 3 р. 50 к.

Только по нотной системе

Школа-самоучитель для баяна **Гладкова** и **Голубева** . . . . 4 р. 65 к.
Сборник западных танцев для баяна **Гладкова** . . . . . 2 р. —
Школа для скрипки, ч. I, **Берио** . 4 р. 50 к.
Школа для корнета или трубы **Блажевича** . . . . . 4 р. 50 к.
Школа для фортепиано **Бейера** . 5 р. —
Чайковский. Детский альбом для фортепиано . . . . . 2 р. —
Драгомиров. Учебник сольфеджио для пения . . . . . 2 р. 80 к.

Книги по музыке

Илюхин. Как научиться читать ноты для игры на балалайке, мандолине и гитаре . . . . . — 75 к.
Кулаковский. Основы музыкальной грамоты. (Пособие для начинающих) . . . . . 1 р. —

Цена 1 р. 30 к.

М4909

П 29
34

Ц. 1936.
Акт № 765
Филвдн. л.